

# СБОРНИК

СУИЦИДОЛОГИЯ.

ПРОШЛОЕ И

НАСТОЯЩЕЕ

Сборник

**Суицидология.**  
**Прошлое и настоящее**

«Когито-Центр»

2003

## **Сборник**

Суицидология. Прошлое и настоящее / Сборник — «Когито-Центр», 2003

Представленные в книге тексты систематизированы в трех разделах: историко-философском, клинико-психологическом и литературно-художественном. Предисловия к разделам, снабженные библиографическим, а также биографическим комментарием, освещают историю изучения суицида в странах Запада, Востока и в России. Попытка научной систематизации материалов по суицидологии и публикация малоизвестных текстов отличают данное издание от близких по тематике.

## Содержание

От составителя	5
1 раздел	7
Введение к историко-философскому разделу	8
Луций Анней Сенека	20
Письмо 4	20
Письмо 69	21
Письмо 70	21
Письмо 77	24
Мишель Монтень	27
О том, как надо судить о поведении человека перед лицом смерти	27
Давид Юм	32
Артур Шопенгауэр	38
Глава XII	38
Параграф 334	38
Параграф 335	38
Параграф 336	38
Параграф 337	39
Параграф 338	39
Параграф 339	40
Параграф 340	40
Параграф 341	40
Параграф 342	40
Федор Достоевский	42
Два самоубийства	42
Конец ознакомительного фрагмента.	43

# **Суицидология: Прошлое и настоящее: Проблема самоубийства в трудах философов, социологов, психотерапевтов и в художественных текстах Составитель А. Н. Моховиков**

## **От составителя Клиническая и психологическая парадигма самоубийства**

Книга, которую держит в руках читатель, является одной из первых изданных на русском языке хрестоматий, посвященных важнейшей проблеме современности – проблеме самоубийства, которое представляет собой наиболее яркое и открытое проявление саморазрушающего поведения человека.

После периода пристального и разностороннего интереса к многообразным аспектам суицида, проявленного русскими психиатрами, психологами, философами, юристами, писателями и общественными деятелями в конце XIX – начале XX века и в послеоктябрьскую эпоху, над этой проблемой на долгие десятилетия повисла завеса молчания. Не исключено, что советскую власть в суициде возмущало прежде всего самоуправство. Произвольный, независимый от тоталитарной власти акт, пусть даже такой, как самоуничтожение, наглядно свидетельствовал о том, что в стране все же сохраняется неуправляемая жизнь, бытие неконтролируемых личностей. Самоубийства считались недопустимыми и по причине того, что прерогатива личного выбора была узурпирована государством, которое не могло допустить мысли, что право казнить по собственному желанию принадлежит кому-то еще. Кроме того, открытый разговор о самоубийстве, естественно, оказал бы разрушительное воздействие на миф о стопроцентном единодушии счастливого социалистического общества. Тот, кто даже едва затрагивал эту тему, становился, подобно Николаю Эрдману, обреченным на всю оставшуюся жизнь. Свидетельница той трагической эпохи Надежда Мандельштам писала, что в те годы самоубийца приравнивался к дезертиру. Допустить, чтобы в прекрасной армии строителей социализма бывали случаи дезертирства, было невозможно.

После распада СССР стало очевидным фактом, что во всех европейских государствах, возникших на его территории, уровень самоубийств является самым высоким в мире, а проблема саморазрушающего поведения с каждым годом принимает все более угрожающие, эпидемические масштабы. Это определяет необходимость принятия неотложных мер профилактики, прежде всего создания национальных программ превенции суицидов.

Существенной предпосылкой этих действий является возможно более полное ознакомление профессионалов и самых широких кругов общественности с историческим контекстом и современным состоянием проблемы аутоагрессивного поведения. Совершенно очевидно, что заинтересованный в ней читатель вряд ли обнаружит на своей книжной полке более 3–4 наименований книг по этой проблеме, изданных за последнее десятилетие.

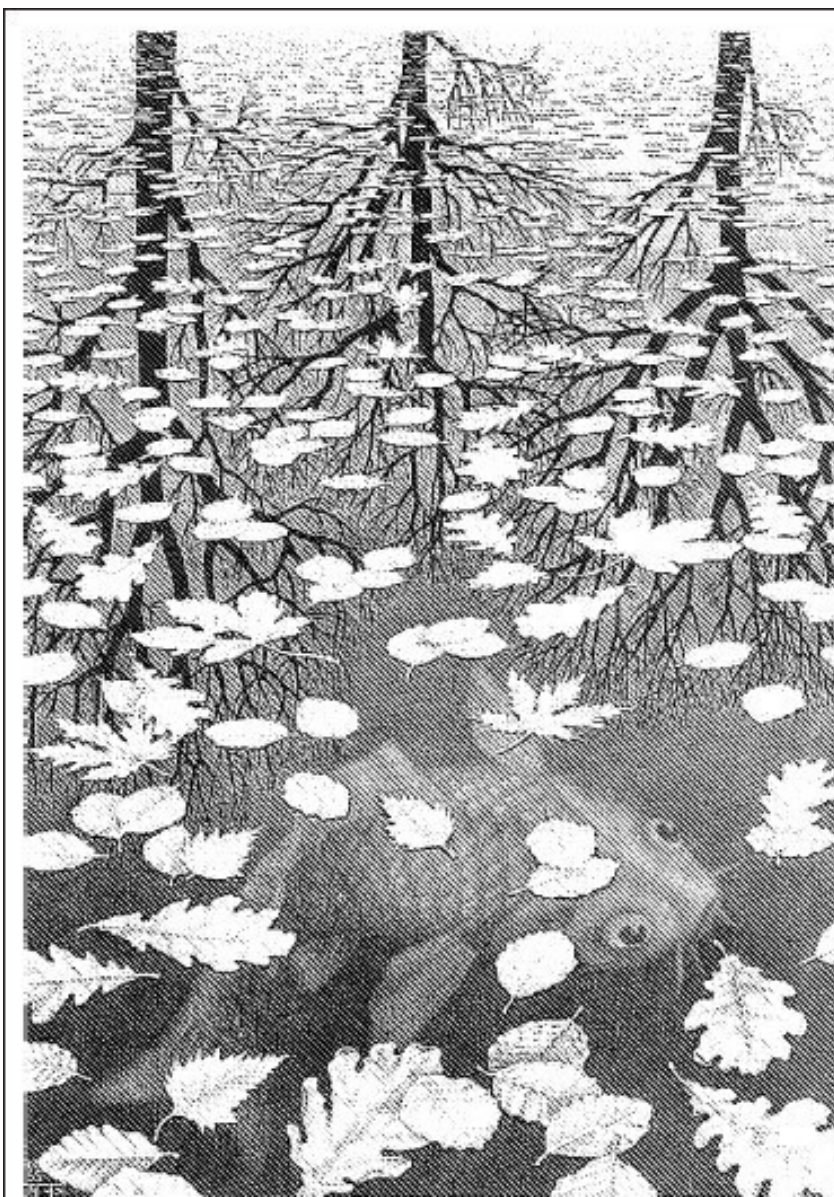
Данная хрестоматия призвана восполнить этот серьезный пробел. По сравнению с первым изданием (Киев: Издательство А.Л.Д., 1996) она существенно дополнена. Предлагаемые вниманию читателя тексты, публикуемые целиком или в виде наиболее важных фрагментов,

сгруппированы таким образом, чтобы представить сложную проблему суицидального поведения в трех ракурсах: историко-философской ретроспективы самоубийства, его клинико-психологической парадигмы и отражения суицидальных мотивов в избранных произведениях художественной литературы.

Разумеется, эта хрестоматия не может претендовать на полноту охвата явления и неизбежно несет на себе печать личных пристрастий, профессиональных интересов и увлечений составителя. Уже сегодня просматриваются контуры ее будущего, более полного издания, которое, естественно, может осуществиться, если эта книга увлечет и заинтересует тех, кто неравнодушен к бесценному дару – человеческой жизни.

*А. Н. Моховиков*

**1 раздел**  
**Историко-философский**



**1**

**РАЗДЕЛ**

**ИСТОРИКО~**  
**ФИЛОСОФСКИЙ**

## Введение к историко-философскому разделу

Тексты, представленные в настоящем разделе, делятся на собственно философские (их авторы – Л. А. Сенека, М. Монтень, Д. Юм, А. Шопенгауэр, Ф. М. Достоевский, К. Ясперс, Н. А. Бердяев) и историко-феноменологические (авторы которых – А. Ф. Кони, И. А. Сикорский, П. И. Ковалевский, Ю. М. Лотман, В. Ф. Ходасевич, Б. Л. Пастернак, Б. Г. Херсонский); они служат целям осмысления феномена суицидального поведения в исторической ретроспективе. Исторический обзор суицидального поведения объясняет его значение и смысл для человека и общества, а также дает возможность проследить закономерности и формы его проявлений.

На протяжении человеческой истории проблему самоубийства решали вначале с технологических, позже с философских и нравственных позиций, затем, с середины прошлого столетия, к выяснению привлекались знания из области психиатрии, антропологии, психологии, правоведения, эпидемиологии и социологии. Это позволяет сегодня рассматривать феномен самоубийства с мультидисциплинарных позиций.

В ходе истории взгляды на сущность добровольного ухода из жизни существенно изменялись, как и его моральная оценка (грех, преступление, норма, героизм), в зависимости от соответствующего этапа развития общества и преобладавших социальных, идеологических и этнокультуральных представлений. С глубокой древности отношение к суициду, его причины и технология тесным образом были связаны с тем, как то или иное общество, социальная группа или культура воспринимали понятие смерти. Это и определяло различия в отношении к акту аутоагрессии государства, священнослужителей, законоучителей, философов и простых людей.

В *традиционных*, так называемых *примитивных культурах*, на смерть смотрели двойственно. Для человека той давней эпохи она могла быть плохой или хорошей. Плохая смерть обычно связывалась с самоубийством. Согласно анимистическим представлениям, суициденты после смерти превращаются в маленьких злых духов, способных наводить на живущих порчу. Эти взгляды дошли до нас в народных верованиях и преданиях ряда племен Африки, Азии и Южной Америки, находящихся на родоплеменном этапе развития. Шаманизм, в том числе и современный, также неодобрительно относится к суицидам. Например, буряты верят, что души покончивших с собой превращаются в мучителей своих родственников. Местом их обитания становится водная пучина, в которую они стараются заманить купальщиков. И хотя погребальный обряд бурят расписан до мельчайших деталей, суицидентам в нем не нашлось места. Существуют указания лишь на очень редкие, практически единичные случаи ритуальных самоубийств (например, добровольная смерть бездетных стариков во время засухи). Отечественный этнопсихиатр В. Б. Маневич описал совершенно уникальное самоубийство стариков-бурят в древности: если у семидесятилетних людей не было внуков, считалось, что «они заедают чужую жизнь», их заставляли проглатывать бесконечную ленту жира, и они задыхались.<sup>1</sup>

По-видимому, первым дошедшим до нас письменным источником, сохранившим упоминания о суициде, является *древнеегипетский* «Спор разочарованного со своей душой».<sup>2</sup> Он относится к эпохе Древнего царства (XXI век до н. э.) и был написан неизвестным автором во времена крутой ломки общественных порядков и нравов. «Спор...» проникнут переживаниями покинутости и заброшенности, герой его чувствует себя одиноким в окружающем обществе, в котором ему все чуждо и враждебно. В его строках нет и намек на религиозный страх

---

<sup>1</sup> См.: Митевич В. Б., Баранчик Г. М. Психологическая антропология. – Томск, Улан-Удэ, 1994.

<sup>2</sup> См. литературно-художественный раздел настоящего издания, а также: Поэзия и проза Древнего Востока. – М.: Художественная литература, 1973.

перед добровольным завершением жизни. Вполне возможно, что по крайней мере на определенных этапах древнеегипетской цивилизации отношение к самоубийству было вполне толерантным.

*Греко-римская культура* относилась к самоубийствам неоднозначно. Самоуничтожение было связано с пониманием греками и римлянами свободы, являвшейся одной из основных идей их философской мысли. Для них свобода состояла прежде всего в свободе от внешнего давления, в самостоятельном контроле собственной жизни. Ее высшей формой становится свобода в принятии решения – продолжать жизнь или умереть. Свобода для них была творческой, самоубийство поэтому в известной мере являлось креативным актом.

Древнегреческих философов в зависимости от точки зрения на допустимость самоубийства можно разделить на три группы. Пифагор (ок. 580–500 до н. э.) и Аристотель (384–322 до н. э.) противостоят эпикурейцам, киникам и стоикам, Платон (428/427–348/347 до н. э.) и Сократ (470/469–399 до н. э.) занимают промежуточную позицию.

Пифагорейцы представляли вселенную полной гармонии, которую они поверяли музыкой и числом. В их понимании суицид был мятежом против установленной богами почти математической дисциплины окружающего мира, внесением в него диссонанса и нарушением симметрии. Аристотель считал, что смерть приходит в положенный час и ее следует приветствовать, самоубийство – проявление трусости и малодушия, даже если оно спасает от бедности, безответной любви, телесного или душевного недуга. Он утверждал в «Никомаховой этике», что, убивая себя, человек преступает закон и поэтому виновен перед собой как афинский гражданин и перед государством, оскверненным пролитой кровью. Не случайно в Афинах существовал обычай отрубать и хоронить отдельно руку самоубийцы.

Отношение Сократа и Платона к самоубийству основывается на следующих положениях. Сократу потусторонний мир – Гадес – не казался местом, столь отвращающим взор, как, например, герою гомеровского эпоса. Платон был уверен, что отношения тела и души сложны и проблематичны, злые поступки тела оскверняют душу, делая ее несчастной, и не дают возможности полностью отделиться и вернуться в мир идей. Это идеальное существование после смерти, не являясь прямым призывом к суициду, тем не менее создавало вполне определенную атмосферу, заставлявшую человека поверить, что уход от земной жизни является единственным путем к совершенному бытию. Терпимое отношение к суициду содержится во взглядах Сократа на философию как «приготовление к смерти». В диалоге «Федон» неоднократно говорится о предпочтительности смерти перед жизнью. От этих умозаключений, казалось бы, один шаг к вопросу: «Так почему же в таком случае не самоубийство?» Но, спохватываясь, Сократ накладывает на него вето, оно недопустимо, ибо жизнь человека зависит от богов: «Не по своей воле пришел ты в этот мир и не вправе устранишься от собственного жребия». Однако он все же оставляет лазейку: добровольная смерть может быть позволительной, если необходимость ее указана всевидящими богами. Существенно, что Сократ устанавливает ассоциативную связь между бессмертием души и добровольной смертью. Платон также полагал, что разум дается человеку для того, чтобы иметь мужество переносить жизнь, полную горестей и страданий.<sup>3</sup>

Для представителей третьего направления сущность жизни и смерти не была серьезной проблемой. Эпикур (341–270 до н. э.) и его ученики, полагая целью жизни удовольствие, считали суицид возможным и даже желательным («...самое ужасное из зол, смерть, не имеет к нам никакого отношения; когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет»<sup>4</sup>). Стоики же скорее были озабочены страхом потери контроля, в том числе над собственной жизнью. Чтобы избавиться от него, они утверждали: если обстоятельства делают жизнь невыносимой или наступает пресыщение, следует добровольно расстаться с ней. *В император-*

---

<sup>3</sup> См.: Платон. Сочинения. В 3 т. – М.: Мысль, т. 2, с. 11–94; т. 3(1), с. 288; т. 3(2), с. 363.

<sup>4</sup> Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Книга X. Эпикур. – М.: Мысль, 1979, с. 433.

ском *Риме* под влиянием философии стоицизма возникло патетическое отношение к смерти. В «Анналах» Тацит (ок.58– после 117) весьма подробно описывает обстоятельства самоубийства Сенеки и его жены («Анналы», 15.60–64). Рассказывая о насильственной смерти одного римлянина по имени Азиатик во время правления императора Клавдия («Анналы», 11. 3), Тацит говорит, что свобода состояла только в выборе способа своей смерти. Для Цицерона (106– 43 до н. э.) суицид не являлся большим злом. Цель жизни состоит в том, чтобы жить и любить себя в соответствии с природой: самоубийство для мудреца, желающего быть верным ей до конца, могло быть вполне полезным. Стоики не верили в любящее, заботящееся божество и были далеки от того, чтобы признавать ценностью преходящий человеческий успех. Они ценили неограниченное проявление свободы, которое предусматривало и право выбора одного из многих вариантов ухода из жизни. Смерть описывалась стоиками как акт освобождения, в котором, например, Плиний Младший (61/62–около 114) усматривал превосходство человека над богами.

Тема самоубийства была одной из основных в письмах Луция Аннея Сенеки (ок.4 до н. э.–65 н. э.) – в последнем, итоговом произведении мыслителя-стоика. В качестве наставника он обращался к Луцилию, одному из своих учеников, страстно желавшему стать настоящим философом.

Смерть, по мнению Сенеки, должна быть хорошей, то есть лишенной страсти и эмоций. Для него основным критерием являлась этическая ценность жизни: «Раньше ты умрешь или позже – неважно, хорошо или плохо, – вот что важно. А хорошо умереть – значит, избежать опасности жить дурно».<sup>5</sup> Цицерон, Сенека и знаменитый автор «Сатирикона» Петроний Арбитр (год рожд. неизв.–66 н. э.) свои философские взгляды претворили в жизнь. Видимо, во времена Тиберия, Калигулы и Нерона, дома Клавдиев, «ненавистного богам и людям», подобное отношение к саморазрушению не было лишено оснований. Наиболее значительные из «Нравственных писем к Луцилию», имеющие отношение к теме суицида, открывают настоящий раздел.

*Древние иудеи* относились к самоубийству отрицательно. Для них свобода была не меньшей экзистенциальной ценностью, чем для греков, но решали они эту проблему принципиально иначе. Бог дал каждому свободу принимать решения и следовать им. Если человек верит, что Бог господствует над землей и принимает эти отношения, то он становится свободным от желания самодеструкции. Иудаизм относился к жизни творчески, как к непреходящей ценности. Человек в этом смысле был не соперником Богу, а, скорее, равноправным партнером в продолжающейся работе творения. В этом контексте самоубийство выглядит как помеха, отвержение возможности творческого созидания жизни. Оно было категорически запрещено Торой. Это определялось уже первыми строками книги Бытия, утверждавшими, что жизнь хороша, ее следует ценить, никогда не отчаиваться, ибо за всем, что бы ни происходило, стоит Бог. Маленький кочевой народ, каким были древние иудеи, неоднократно в своей истории подвергавшийся нападениям неприятелей, не мог позволить себе роскошь лишиться хотя бы одного мужчины, поскольку в чрезвычайных обстоятельствах это грозило исчезновением рода. В священных книгах Торы описаны лишь единичные случаи самоубийства, например, Самсона, принуждавшегося к идолопоклонству филистимлянами; царя Саула и его оруженосца при угрозе пленения врагом; Ахитофеля, предавшего своего повелителя, царя Давида. Даже в проникнутых экзистенциальным пессимизмом книгах Иова и Екклесиаста видна глубокая привязанность к жизни. Иов, например, по всем современным критериям является человеком с очень серьезным суицидальным риском. Он страдает одновременно от множества потерь (детей, общественного положения, материального благополучия) и от неразделенных чувств. Его жена советует ему покончить с собой. Он переживает одиночество, гнев, тревогу, униже-

---

<sup>5</sup> Сенека Л. А. Нравственные письма к Луцилию. Трагедии. – М.: Художественная литература, 1986, с. 130

ние, страдание от физической боли и депрессию. Жизнь отвергла его, и он ощущает привлекательность смерти, утратив надежду на изменения в будущем. И, наконец, он живет жизнью, не имеющей смысла. Что же остановило его? Экзистенциальное объяснение этому уже приводилось. Но есть и психологическое, основанное на традициях Торы: Иова не до конца оставило желание продолжать поиски понимания смысла жизни, что возвратило ему надежду.

В Талмуде попытка самоубийства рассматривалась как преступление, подлежащее суду и наказанию. Однако допускалось, что преступник-жертва мог действовать в состоянии умоисступления и потому больше нуждается в жалости и сострадании, чем в преследовании по закону. Кроме того, из этого правила допускались исключения, например, при принуждении к идолопоклонству, incestу или убийству. К той же исторической эпохе относятся случаи массовых самоубийств среди иудеев (73 н. э.) перед лицом угрозы обращения в другую веру: защитники крепостей Масада и Йотапата предпочли смерть сдаче римлянам. Через тысячу лет (1190) аналогично поступила иудейская община в Йорке, которой грозило насильственное крещение.

Для японской культуры также характерна солидарность в отношении самоубийства, однако совершенно противоположного рода. Как ни в какой другой культуре, оно носит ритуальный характер и окружено ореолом святости. Это определяется религиозными традициями синтоизма и национальными обычаями, регламентировавшими ситуации, в которых суициду не было альтернативы. С давних времен японское общество отличалось жесткой иерархией, которую венчал император, воплощение и прямой наследник богини Солнца. Каждое царствование было эпохой, смерть императора или феодала означала, что жизнь многих поданных тоже закончилась. Подданные питали к ним глубокое уважение и рассчитывали поддерживать с ними вечные отношения. Военское сословие самураев имело особый кодекс – бусидо, в котором декларировалось презрение к собственной жизни, к страданиям и боли. Самоубийство по определенному ритуалу было для них безальтернативным, если следовало искупить вину или выразить протест против несправедливости для сохранения чести. Оно совершалось двумя особыми методами: харакири (вспарыванием живота) или откусыванием собственного языка. Функционирование семьи в этом этносе также отличалось особенностями. Оно было проникнуто общностью и симбиозом (например, жизнь матери имела смысл, если она была целиком посвящена детям) и крайней независимостью ее членов в отношении окружающей среды (нежеланием принимать помощь извне). В общественных отношениях и полная независимость, и, наоборот, подчинение означали незрелость человека. Кроме того, личное и социальное *Я* японца отличались почти полным слиянием. Будучи в первую очередь членом определенной социальной группы, он должен был отвечать за все, что происходило в ней, чтобы предотвратить угрозу нестабильности. Предрасполагали к суициду и другие черты японского этноса, например, сдержанность и молчаливость с минимальным выражением чувств, склонность к интровертированной агрессии, значимость чувства стыда при несоответствии принятому в обществе идеалу. Интенсивное переживание стыда скрывалось, в противном случае не оставалось ничего, кроме как умереть, совершить суицид так, чтобы никто не нашел тела. Наверное, поэтому в Японии издавна существовали особые места, например, лес у подножия горы Фудзияма, куда стремились желавшие покончить с собой.

Следует упомянуть некоторые связанные с японскими этнокультурными особенностями виды самоубийств. *Ояко-синдзю* – парный суицид молодых людей, не имеющих возможности обрести счастье в этой жизни, или матери и детей. Последний обычно совершается молодой матерью в возрасте 20–30 лет после убийства своих детей. Решив покончить с собой, она не может оставить ребенка жить одного, поскольку уверена, что никто в мире не будет заботиться о нем, а, следовательно, ему лучше умереть вместе с ней. Общество относится к такому поступку с сочувствием. *Дзюнси* – самоубийство, осуществляемое, чтобы сопутствовать императору, феодалу или боссу после его смерти, так выражалась крайняя лояльность, преданность и готовность служить вечно. *Инсеки-дзюсатцу* – суицид, свершаемый, если некто, с кем чело-

век так или иначе связан, подозревается в правонарушении. Испытывая стыд и желание защитить, этим поступком суицидент принимает на себя ответственность за сделанное другим. *Возрастные* самоубийства напоминают ояко-синдзю. Их совершают пожилые семейные пары в случаях тяжелых, неизлечимых заболеваний одного или обоих супругов. Здоровый принимает решение убить более немощного, а затем покончить с собой.

Нередко в ходе японской истории этнические традиции способствовали широкому распространению героических суицидов, отражавших пламенный патриотизм, неукротимое мужество и самопожертвование представителей высших сословий общества.<sup>6</sup>

*В исламе* самоубийство было тяжелейшим из грехов и решительно запрещалось Кораном. Правоверные мусульмане верят, что кысмет, то есть судьба, предначертанная Аллахом, будет определять всю их жизнь, и они обязаны терпеливо сносить все удары судьбы как ниспосланные свыше испытания в этой жизни. Тем не менее такие установки далеко не всегда определяли реальное поведение правоверных мусульман, по крайней мере некоторых, вполне поощрявших героические самоубийства во имя отечества и Аллаха. Однако и сегодня мусульманские страны характеризуются самым низким числом самоубийств на душу населения в мире.

Долгая история *Древней Индии* оставила различные свидетельства, касающиеся самоубийств. Конечной целью почти всех ее философских систем было «освобождение» от цепи рождений (кармы) и слияние с миром Брахмы – последней основы мироздания. Метод «освобождения» на слияние не влиял, и оно нередко достигалось путем суицида. Некоторые йоги-долгожители, достигнув определенного возраста, завершали жизнь самоубийством. Так поступали и многие герои «Махабхараты». Джайнам, представителям одной из радикальных индуистских сект, было разрешено кончать с собой, если после 12 аскетических подвигов они не достигали «освобождения». Они считали, что следует медленно, постепенно умерщвлять свою плоть, тем самым очищаясь от грехов, и только такая смерть является правильной. Примером может служить известный властитель Чандрагупта Маурья (IV век), покончивший с собой, перестав принимать пищу. В Индии наибольшее распространение получили религиозные самоубийства в виде самоутопления и самосожжения, а последователи Вишну толпами бросались под колеса громадных колесниц, принося себя в жертву. Сати – ритуальное самосожжение индийских вдов после смерти мужа для удовлетворения чувственных потребностей покойника в загробном мире – было одним из наиболее распространенных и известных видов ритуального самоубийства. Оно, несомненно, являлось продолжением древней традиции человеческих жертвоприношений. Исполнение этого обряда прежде всего предписывалось женам правителей и знатных людей и имело исключения для простолюдинок. Смерть в водах, описанная еще в «Рамаяне», навсегда освобождала человека от грехов. Хотя, с другой стороны, известно немало древнеиндийских текстов и сводов законов, которые осуждали аутоагрессию («Модшадхарма», «Артхашастра») и предписывали меры борьбы с ней, если она носила бытовой характер.

*Буддизм*, как известно, существует в виде двух вариантов: махаяны (или ламаизма), распространенной на Тибете, среди бурятов и монголов, и хинаяны («малой колесницы»), преобладающей в Китае, Японии и других южноазиатских странах. Его суть состоит в вере в бесконечность перерождений (сансару). Прекратить ее можно только в состоянии Будды, мирянину же это абсолютно недоступно. Самоубийство не может прервать сансару, а только привести к дальнейшему перерождению, но уже ни в коем случае не в облике человека, а, например, животного или голодного демона. Эта перспектива, естественно, не является привлекательной, поэтому истинный буддист категорически отвергает самоубийство. Странники хинаяны в отдельных случаях допускали ритуальные самоубийства священнослужителей, особенно мона-

---

<sup>6</sup> См.: Takahashi Y., Berger D. Cultural Dynamics and Suicide in Japan // Leenaars A., Lester D. (Eds.) Suicide and the Unconscious. – Northvale: Jason Aronson, 1996, p. 248–258; Трегубов Л. З., Вагин Ю. П. Эстетика самоубийства. – Пермь, 1993.

хов. В Японии такое самоубийство именуется *нюдзэ*. Ведя аскетический образ жизни, монахи в конечном счете отказывались от еды и питья, веря, что тем самым могут спасти людей и мир от многочисленных грехов.

Как свидетельствует история, в *христианстве* четкое отношение к суицидам сформировались не сразу. В Евангелии о них сказано лишь косвенно при упоминании о смерти Иуды Искаротиота. Более определенно в Библии высказывается апостол Павел: «Разве вы не знаете, что вы храм Божий... Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы» (1 Кор. 3:16,17). Первым из Отцов Церкви самоубийство осудил в IV веке Блаженный Августин, таким образом отреагировав на эпидемический рост случаев добровольных смертей и неистового мученичества среди фанатических последователей христианских сект. Он считал суицид поступком, который заранее исключает возможность покаяния и является формой убийства, нарушающей заповедь «Не убий». Его следует считать злом при всех обстоятельствах, за исключением ситуаций, когда от Бога поступает прямая команда (как это было в библейской истории с Самсоном).

Почти через тысячу лет католический теолог Фома Аквинский (1225–1274) был еще более категоричен и осуждал самоубийство на основании трех постулатов:

1. Самоубийство является нарушением закона природы, в соответствии с которым «все естественное должно поддерживать свое бытие» и который предписывает любить себя;

2. Это – нарушение закона морали, поскольку наносит ущерб обществу, частью которого является самоубийца;

3. Самоубийство есть нарушение Закона Божьего, который подчиняет человека провидению и оставляет право забирать жизнь только самому Богу.<sup>7</sup>

Данте Алигьери (1265–1321) в соответствии с традициями этой доктрины в «Божественной комедии» поместил самоубийц среди мучающихся в аду грешников. Их души превращались в деревья, а безжизненные тела вечно висели на них, возбуждая у остальных обитателей ада ужас и отвращение:

Когда душа, ожесточась, порвет  
Самоуправно оболочку тела,  
Минос ее в седьмую бездну шлет.

Ей не дается точного предела;  
Упав в лесу, как малое зерно,  
Она растет, где ей судьба велела.

Зерно в побег и в ствол превращено;  
И гарпии, кормясь его листьями,  
Боль создают и боли той окно.

Пойдем и мы за нашими телами,  
Но их мы не наденем в Судный день:  
Не наше то, что сбросили мы сами.

Мы их притащим в сумрачную сень,  
И плоть повиснет на кусте колючем,  
Где спит ее безжалостная тень.

---

<sup>7</sup> См.: Battin M. P., Maris R. W. (Eds.) Suicide and ethics // Suicide and Life-Threatening Behavior. 1983. Special issue.

(13, 94–106)

Жесткие установки христианства, закрепленные на Западе постановлением Тридентского собора (1568), официально признавшего на основании заповеди «Не убий» суицид убийством, почти на полтора тысячелетия сформировали соответствующие законодательные меры в большинстве государств Европы и определили доминирующее отношение общества к самоубийцам. Сегодня большинство христианских конфессий, хотя и не отходит от твердого этического кодекса по отношению к суицидам, но на практике стремится проявлять толерантность и учитывать глубинные психологические причины и социальные факторы самоубийств. Протестантский теолог Дитрих Бонгеффер, расстрелянный нацистами в тюрьме, осуждал суицид как грех, совершая который, человек отрицает Бога. И все же он не распространял это на военнопленных, жертв холокоста или концентрационных лагерей.

Эпоха *Возрождения* стала возрождением и для взглядов античных философов на самоубийство, прежде всего в смысле более взвешенного отношения к нему по сравнению с порой средневековья. В «Опытах» французского мыслителя Мишеля Монтеня (1533–1592) эта проблема становится не только экскурсом в античность, но и оправданием допустимости самоубийства в психологическом смысле («По-моему, невыносимые боли и опасения худшей смерти являются вполне оправданными побуждениями к самоубийству»,<sup>8</sup> – пишет он в главе «Обычай острова Кеи») и в правовой плоскости («Подобно тому, как я не нарушаю законов, установленных против воров, когда уношу то, что принадлежит мне, или сам беру у себя кошелек, и не являюсь поджигателем, когда жгу свой лес, точно так же я не подлежу законам против убийц, когда лишаю себя жизни»<sup>9</sup>).

Вслед за Монтенем христианскую апологию самоубийства, трактат «Биатанатос», создает английский поэт и мыслитель, родоначальник «метафизической школы» Джон Донн (1572–1631), завещавший опубликовать его только после своей смерти.

*Новое время* продолжило традицию толерантного отношения к суициду, что нашло классическое выражение в знаменитом эссе английского философа Дэвида Юма (1711–1776) «О самоубийстве». С позиций разумного скептицизма Юм досконально исследовал мир нашего опытного знания как необходимую основу для любых возможных умозрительных обобщений и, разумеется, не мог пройти мимо суицида как значимой части человеческого опыта.

Интересна история его появления на свет, совершенно определенно характеризующая отношение тогдашнего британского общества к обсуждаемой проблеме. Написанное между 1755 и 1757 годами для сборника философских эссе, оно по совету друзей было изъято Юмом уже во время печатания из-за опасности преследований со стороны духовенства пресвитерианской Шотландии (отношение которого к Юму и без того было критическим – ему так и не удалось реализовать академическую карьеру у себя на родине). Оставшиеся двадцать лет жизни Юм проявлял большое беспокойство, что некоторые оттиски могли сохраниться и оказаться в обращении, и опубликовано это эссе было только после смерти автора, да и то анонимно. Лишь Полю Гольбаху удалось при жизни Юма опубликовать французский перевод этого произведения. Не менее любопытна история его публикации в России. Напечатанное в 1908 году в пору расцвета русской суицидологической мысли, оно до 1996 года ни разу не удостоилось переиздания.

Юм полагал, что вопрос о самоубийстве несколько не противоречит промыслу Божьему. Его закон проявляется не в отдельных событиях, а только в общей гармонии. Все события производятся силами, дарованными Богом, а потому и всякое событие одинаково важно в беспредельной вечности. Добровольно прекращающий свою жизнь человек вовсе не действует против

---

<sup>8</sup> Монтень М. Опыты. В 3 т. – М.: Терра, 1996, т. 1, с. 324.

<sup>9</sup> Там же, с. 313.

воли Божьей, его промысла и не нарушает мировой гармонии. После нашей смерти элементы, из которых мы состоим, продолжают служить мировому прогрессу.

Закономерен и интерес *немецкой классической философии* к проблеме самоубийства. Критический гений Иммануила Канта (1724–1804) здесь дал сбой, и, по сути, великий немецкий философ продолжил традицию Фомы Аквинского, заявив, что самоубийство является оскорблением человечества (1788). Очевидно, проблема суицида досадным образом нарушала логическую и эстетическую целесообразность в природе и человеке. Для философов, которые стремились к созданию всеохватывающих и логически ясных систем, основанных на синтезирующих принципах разума, в лучшем случае был характерен взгляд свысока на такие феномены опыта, как самоубийство, упрямо не желающие ложиться в прокрустово ложе мыслительных обобщений. Кант оправдывал абсолютный моральный запрет на самоубийства ввиду присущего этому акту внутреннего противоречия: мы не можем предпринимать попытки улучшить свою участь путем полного саморазрушения; самоубийство – это эгоистический акт, поэтому оно парадоксально и на основании логики является актом поражения. Функцией чувства любви к самому себе является продолжение жизни, и она входит в противоречие с собой, если приводит к самоуничтожению. В этих рассуждениях нельзя не усмотреть амбивалентности – наличия двух несовместимых целей, нередко проявляющихся в акте добровольного ухода из жизни: желания умереть и желания улучшить свою жизнь.

Иначе рассуждал Артур Шопенгауэр (1788–1860) (ему принадлежит фраза: «Великие истины рождаются в сердце»<sup>10</sup>), кого по степени личного отношения к проблеме вполне можно было бы отнести к «оставшимся в живых». Есть все основания предполагать, что тяжелая инвалидность отца, в конце концов приведшая его к смерти, была следствием его попытки добровольного ухода из жизни и, разумеется, семейным «скелетом в шкафу». А драматические перипетии собственной личной истории сделали одиночество для философа естественным состоянием и породили отношение к жизни, в которой невозможно счастье и торжествует зло и бессмыслица («... история каждой жизни – это история страданий, ибо жизненный путь каждого обыкновенно представляет собой сплошной ряд крупных и мелких невзгод»<sup>11</sup>). Если отрицается «воля к жизни», то возникает экзистенциальная вина, которая, усугубляясь, ведет к различным степеням самоотрицания человеческой самости вплоть до самой кардинальной. Последняя иллюстрируется примером гетевской Гретхен. Но в то же время только в самом человеке, в бездне его жизненного неблагополучия и неизбывных страданий берут начало надежда и сочувствие. Феноменологическая отзывчивость Шопенгауэра способствовала тому, что лучшие страницы «Мира как воли и представления» посвящены его мыслям о природе самоубийства. В данную книгу включены отрывки из менее известного сочинения философа – «Новые паралипомены».

Поводом для размышлений Ф. М. Достоевского над проблемой самоубийства в «Дневнике писателя» за 1876 год послужило самоубийство в декабре 1875 года во Флоренции 17-летней Елизаветы Герцен, дочери А. И. Герцена и Н. А. Тучковой-Огаревой, покончившей с собой из-за неразделенной любви к 44-летнему французскому этнографу-социологу Шарлю Летурно. Это чувство резко обострило и без того напряженные внутрисемейные отношения и породило гиперболизированно трагическое восприятие у нервной и впечатлительной девушки.

Ее «аристократически-развратному» уходу из жизни, который возмутил писателя, он противопоставляет «нравственно-простонародное» – кроткое, смиренное самоубийство швеи, выбросившейся из окна с иконой (позже она послужила писателю прототипом главной героини повести «Кроткая»). Кроме того, он моделирует внутренний монолог «самоубийцы от скуки», «идейного самоубийцы», разочаровавшегося в мироздании, который вполне мог бы принадле-

---

<sup>10</sup> Schopenhauer A. Welt und Mensch / Aus wahl aus dem Gesamtwerk von A. Hubsher. – Stuttgart, 1976, S. 17.

<sup>11</sup> Шопенгауэр А. Собр. соч. В 5 т. – М.: Московский Клуб, 1992, т. 1, с. 308.

жать его современнику – Филиппу Майнлендеру (1841–1876). Этот немецкий философ создал теорию, трактующую историю вселенной как агонию разлагающихся частиц умершего Бога, и обосновал необходимость собственного добровольного ухода из жизни, реализовав его на следующий день после выхода его главного труда.

С шопенгауэровской традицией, влиянием Серена Кьеркегора (1813–1855) (у него есть парадоксальное суждение: «Да, я не господин своей судьбы, а лишь нить, вплетенная в общую ткань жизни! Но если я не могу ткать сам, то могу обрезать нить»<sup>12</sup>) и Ф. М. Достоевского связана и поглощенность *экзистенциализма* добровольным уходом из жизни. Основным предметом философской рефлексии становится абсурд существования – «состояние души, когда пустота становится красноречивой, когда рвется цепь каждодневных действий, и сердце впустую ищет утерянное звено»,<sup>13</sup> а единственной по-настоящему достойной внимания философской проблемой – проблема самоубийства.

Карл Ясперс (1883–1969) изучал проблему самоубийства профессионально, сначала как психиатр, а затем как экзистенциальный философ. К 30 годам он написал «Общую психопатологию» (1913), ставшую энциклопедией психиатрической мысли и определившую на многие десятилетия магистральные пути ее развития в современном мире. В ней он утверждает, что большинство самоубийств совершается не душевнобольными, а аномально предрасположенными лицами (психопатами). Позднее, став знаменитым психиатром, он круто меняет судьбу и сосредотачивается на философии. К. Ясперс доказывает тогдашнему академическому истеблишменту право быть философом, более десятилетия работая над трехтомным сочинением «Философия», вышедшим в 1931–1932 годах.

Несмотря на солидный объем, в нем отсутствует изложение философской системы в академическом смысле слова, а систематизированы и упорядочены идеи и размышления, составлявшие содержание экзистенциального философствования. О самоубийстве Ясперс пишет именно в этом стиле, окрашенном личной интонацией свободного размышления, лишенного стремления вывести все содержание мысли из единого общего принципа. Для Ясперса самоубийство связано с *ситуацией* как неповторимой констелляцией событий, которые определяют уникальность конкретной человеческой судьбы.

Психологический этюд Н. А. Бердяева (1874–1948) «О самоубийстве» написан философом в 1931 году за границей. Это реакция человека, мыслителя и христианина на участвовавшие случаи суицидов в среде русской эмиграции, прежде всего молодежи. Настроения русских эмигрантов, правда, более поздние, ярко выражены в стихотворении Ивана Елагина:

Топчемся, чужую грязь меся.  
Тошно под луною человеку.  
Отвязаться бы от всех и вся!  
С темного моста да прямо в реку!

Гибнет осень от кровопотерь,  
Улица пустынна и безлиства.  
И не все ли мне равно теперь —  
Грех или не грех самоубийства,

Если жизнь тут больше не при чем,  
Если все равно себя разрушу,  
Если все равно параличом

---

<sup>12</sup> Кьеркегор С. Наслаждение и долг. – Киев: Airland, 1994, с. 40.

<sup>13</sup> Камю А. Миф о Сизифе // Сумерки богов. – М.: Политиздат, 1989, с. 229.

Мне уже давно разбило душу.<sup>14</sup>

Н. А. Бердяев, будучи непримиримым противником самоубийства, считал, что его порождает бессмысленное и бесцельное страдание и безнадежность. Страдание может получить смысл только в религиозном отношении к жизни, которое дает человеку духовную силу. Позднее в опыте философской автобиографии «Самопознание» Н. А. Бердяев возвращается к темам экзистенциальной скуки, тоски и страдания, побуждающим человека искать инфернального небытия.

Поскольку историко-феноменологические тексты, представленные в данном разделе, принадлежат перу отечественных писателей, врачей и юристов, имеет смысл кратко остановиться на отношении к самоубийству в России.

В *Древней Руси* до принятия христианства, как свидетельствует Н. М. Карамзин в «Истории государства Российского», «славянки не хотели переживать мужей и добровольно сожигались на костре с их трупами. Вдова живая бесчестила семейство. Думают, что сие варварское обыкновение, истребленное только благодетельным учением Христианской Веры, введено было славянами (равно как и в Индии) для отвращения тайных мужеубийств».<sup>15</sup> Позднее умерших не по-христиански (то есть посредством самоубийства) хоронили по давнему языческому обычаю отдельно от остальных, под домашним порогом, нередко пробив грудь самоубийцы осиновым колом, что являлось защитой от нечистой силы.

Приравненное к убийству на основании 14-го канонического ответа Тимофея Александрийского, утвержденного VI Вселенским Собором (680–681), самоубийство рассматривалось православием как уголовно наказуемое деяние и по церковному праву каралось лишением христианского погребения, если только оно не случилось «вне ума» («священнослужитель должен рассудити, подлинно ли, будучи вне ума, соделал сие»).<sup>16</sup> Законом предусматривалась недействительность духовных завещаний самоубийц. Однако уголовному наказанию не подлежали суицидальные действия, совершаемые по соображениям чести и самопожертвования, а также произведенные в состоянии умопомешательства. При Петре I в Военном и Морском Артикуле появилась суровая запись, касающаяся самоубийц: «Ежели кто себя убьет, то мертвое тело привязать к лошади, волоча по улицам, за ноги подвесить, дабы, *смотря на то*, другие такого беззакония над собой чинить не отважились».<sup>17</sup>

Перу выдающегося судебного оратора, ученого-правоведа, талантливого писателя и общественного деятеля А. Ф. Кони (1844–1827) принадлежит очерк «Самоубийство в законе и жизни» (1923), основанный на опыте его работы в суде и философском осмыслении проблемы. Рост числа самоубийств (кстати, именно это побудило Кони в период НЭПа подытожить свои размышления) он соотносил с социальными явлениями. Анализируя вопрос о карательных мерах в отношении самоубийства, А. Ф. Кони считал их вопиющими в своей нецелесообразности. Следует отметить, что именно благодаря его усилиям, положению и авторитету в императорской России ставился вопрос о правомерности уголовного наказания суицидентов за отсутствием состава преступления, что и было учтено в последней редакции «Уложения о наказаниях» (1903), которое, к сожалению, в силу своей исключительной либеральности так и не было утверждено и осталось в виде проекта. Важно отметить, что А. Ф. Кони был одним из пионеров того, что сегодня именуется постмортальной аутопсией – изучением мотивов, осо-

---

<sup>14</sup> Елагин И. Собр. соч. В 2 т. – М.: Согласие, 1998, т. 1, с. 104.

<sup>15</sup> Карамзин Н. М. История государства Российского. В 12 т. – М.: Наука, 1989, т. 1, с. 65.

<sup>16</sup> См.: Таганцев Н. С. О преступлениях против жизни по русскому праву. – СПб., 1873, т. 2, с. 408; Паперно И. Самоубийство как культурный институт. – М.: Новое литературное обозрение, 1999.

<sup>17</sup> Таганцев Н. С. Указ соч., с. 409–410.

бенностей личности и поведения суицидента, в том числе с использованием психологического анализа посмертных записок.

В русской истории описаны случаи коллективных самоубийств последователей ересей и расколоучений по религиозным мотивам. Например, в конце XVII-начале XVIII века под влиянием знаменитого «отрицательного писания инок Ефросина» произошло около 40 следовавших одно за другим массовых самосожжений («гарей») и самоутоплений, в которых погибло до 20 тысяч старообрядцев. Отдельными эпизодами это повторялось и в XIX веке: например, известное коллективное самоубийство в Терновских хуторах, когда во избежание наложения «антихристовой печати» (проведения всероссийской переписи) более 20 человек, большей частью старообрядцев, покончило с собой, живьем закопав себя в землю.

Это событие и ему подобные исторические прецеденты стали предметом феноменологического анализа известного отечественного психиатра, профессора психиатрии и нервных болезней Киевского университета Св. Владимира И. А. Сикорского «Эпидемические вольные смерти и смертоубийства в Терновских хуторах (близ Тирасполя). Психологическое исследование». Он связывал проблему суицида с такими понятиями, как «борьба инстинкта жизни с инстинктом смерти», и подчеркивал значение «нравственных директив» в принятии индивидом решения о самоубийстве, отмечал влияние прочности традиционных устоев в обществе на распространенность суицидального поведения. И. А. Сикорский (1842–1919) считал, что, повторяясь в ходе русской истории, массовые самоубийства среди членов религиозных сект представляют собой психические заболевания эпидемического характера. Интересно, что противником этой интерпретации был русский философ Василий Розанов, в представлении которого вольные смерти крестьян-старообрядцев были метафизическим явлением – трагическим действием заблуждающейся веры, направленным на спасение души. С брошюрой Сикорского Розанов поступил следующим образом: полностью перепечатал ее под своим именем в книге «Темный Лик. Метафизика христианства» (1910), снабдив собственными откровенно ядовитыми и ироническими многословными подстрочными комментариями.

Следует отметить, что во второй половине XIX века с легкой руки корифеев французской психиатрии, прежде всего Этьенна Эскироля, господствовала точка зрения о существовании суицидомании, то есть убеждение, что только в состоянии безумия человек может покушаться на свою жизнь и что все самоубийцы – душевнобольные. С другой стороны, достаточным вниманием пользовалась концепция итальянского ученого Чезаре Ломброзо о связи гениальности и помешательства. Хотя обе теории и грешили против истины, тем не менее благодаря им у психиатров возник интерес к патографии – анализу психических расстройств у известных исторических личностей.

Образцами этого психобиографического жанра являются исследовательские очерки выдающегося русского психиатра П. И. Ковалевского (1849–1923) «Саул, царь Израилев» и «Людвиг II, король Баварский», написанные в самом начале XX века. П. И. Ковалевский анализирует динамику психического состояния и суицидального поведения этих венценосцев. Стиль П. И. Ковалевского характеризуется не только строгостью научных обобщений, глубокой анализом, но и тонкой исторической наблюдательностью и художественностью воссоздания исторических образов. Одаренный ученый-психиатр, основатель первого в России психиатрического журнала, П. И. Ковалевский одновременно пользовался авторитетом в кругах широкой интеллигенции и как историк, опубликовавший несколько монографий («Завоевание Кавказа Россией», «История Малороссии» и др.).

В конце XVIII века с проникновением в Россию сентиментализма (прежде всего культа «Страданий юного Вертера»), культурных тенденций европейского Просвещения и социальных веяний Французской революции самоубийство становится темой литературы и философии, культурно значимой моделью поведения. Отечественных документальных источников романтической эпохи не так много, поэтому особый интерес представляют изыскания Ю. М.

Лотмана (1922–1993) по проблеме суицидального поведения той поры, которое является для него одной из знаковых культурно-исторических ситуаций.

В начале XX века эпидемия самоубийств затронула в очередной раз не только русское общество, но и русскую литературу. В определенной мере эталоном стал роман Михаила Арцыбашева «У последней черты» (1911), произведение искреннее и неординарное, в котором все значительные герои кончают с собой. Но и во многих других произведениях поэтов и писателей серебряного века (и в решении ими самими сложных жизненных ситуаций) самоубийству уделяется повышенное внимание. Одни проходят через попытки добровольного ухода из жизни, причем кое-кто неоднократно (К. Бальмонт, Н. Гумилев, М. Кузмин, А. Белый, М. Волошин, О. Мандельштам), другие доводят их до трагического финала (М. Цветаева), над третьими витает дух саморазрушения их близких (Ф. Сологуб). Типичная для той эпохи ситуация описана Владиславом Ходасевичем (1886–1939) в мемуарной книге «Некрополь» (1939) в главе «Конец Ренаты», где повествуется о трагической судьбе русской поэтессы Нины Петровской, игравшей заметную роль в литературе и в жизни видных представителей серебряного века.

Рефлексия по поводу более поздних событий и судеб поэтов, ставших символами трагедии русской литературы в послеоктябрьскую эпоху (В. Маяковского, С. Есенина, М. Цветаевой, П. Яшвили), представлена небольшим фрагментом из очерка Бориса Пастернака (1890–1960) «Люди и положения» (1956), который содержит несравненный по глубине анализ психического состояния человека, стоящего у последней черты.

Поиску экзистенциального смысла и отражению кризиса личности в художественных текстах посвящено исследование известного современного психолога, поэта и публициста Бориса Херсонского.

*А. Н. Моховиков*

## Луций Анней Сенека Нравственные письма к Луцилию

### Письмо 4

Сенека приветствует Луцилия!

Упорно продолжай то, что начал, и поспеши сколько можешь, чтобы подольше наслаждаться совершенством и спокойствием твоей души. Есть наслаждение и в том, чтобы совершенствовать ее, чтобы стремиться к спокойствию; но совсем иное наслаждение ты испытываешь, созерцая дух, свободный от порчи и безупречный. Ты, верно, помнишь, какую радость испытал ты, когда, сняв претексту, надел на себя мужскую тогу и был выведен на форум? Еще большая радость ждет тебя, когда ты избавишься от ребяческого нрава и философия запишет тебя в число мужей. Ведь и до сей поры остается при нас уже не ребяческий возраст, но, что гораздо опаснее, ребячливость. И это тем хуже, что нас чтут как стариков, хотя в нас живут пороки мальчишек, и не только мальчишек, но и младенцев; ведь младенцы боятся вещей пустяжных, мальчишки – мнимых, а мы – и того и другого. Сделай шаг вперед – и ты поймешь, что многое не так страшно как раз потому, что больше всего пугает. Никакое зло не велико, если оно последнее. Пришла к тебе смерть? Она была бы страшна, если бы могла оставаться с тобою, она же или не явится, или скоро будет позади, никак не иначе.

«Нелегко, – скажешь ты, – добиться, чтобы дух презрел жизнь». Но разве ты не видишь, по каким ничтожным причинам от нее с презреньем отказываются? Один повесился перед дверью любовницы, другой бросился с крыши, чтобы не слышать больше, как бушует хозяин, третий, пустившись в бега, вонзил себе клинок в живот, только чтобы его не вернули. Так неужели, по-твоему, добродетели не под силу то, что делает чрезмерный страх? Спокойная жизнь – не для тех, кто слишком много думает о ее продлении, кто за великое благо считает пережить множество консульств. Каждый день размышляй об этом, чтобы ты мог равнодушно расстаться с жизнью, за которую многие цепляются и держатся, словно уносимые потоком – за колючие кусты и острые камни. Большинство так и мечется между страхом смерти и мучениями жизни; жалкие, они и жить не хотят, и умереть не умеют. Сделай же свою жизнь приятной, оставив всякую тревогу о ней. Никакое благо не принесет радости обладателю, если он в душе не готов его утратить, и всего безболезненней утратить то, о чем невозможно жалеть, утратив. Поэтому укрепляй мужеством и закаляй свой дух против того, что может произойти даже с самыми могущественными. Смертный приговор Помпею вынесли мальчишка и скопец. Крассу – жестокий и наглый парфянин. Гай Цезарь приказал Лепиду подставить шею под меч трибуна Декстра – и сам подставил ее под удар Хереи. Никто не был так высоко вознесен фортуной, чтобы угрозы ее были меньше ее попустительства. Не верь затишью: в один миг море взволнуется и поглотит только что резвившиеся корабли. Подумай о том, что и разбойник и враг могут приставить тебе меч к горлу. Но пусть не грозит тебе высокая власть – любой раб волен распоряжаться твоей жизнью и смертью. Я скажу так: кто презирает собственную жизнь, тот стал хозяином твоей. Вспомни пример тех, кто погиб от домашних козней, изведенный или силой, или хитростью, – и ты поймешь, что гнев рабов погубил не меньше людей, чем царский гнев. Так какое тебе дело до могущества того, кого ты боишься, если то, чего ты боишься, может сделать всякий? Вот ты попал в руки врага, и он приказал вести тебя на смерть. Но ведь и так идешь ты к той же цели! Зачем же ты обманываешь себя самого, будто лишь сейчас постиг то, что всегда с тобой происходило? Говорю тебе: с часа твоего рождения идешь ты к смерти. Об этом должны мы думать и помнить постоянно, если хотим безмятежно дожидаться последнего часа, страх перед которым лишает нас покоя во все остальные часы.

А чтобы мог я закончить письмо, – узнай, что приглянулось мне сегодня (и это сорвано в чужих садах): «Бедность, сообразная закону природы, – большое богатство». Знаешь ты, какие границы ставит нам этот закон природы? Не терпеть ни жажды, ни голода, ни холода. А чтобы прогнать голод и жажду, тебе нет нужды обивать надменные пороги, терпеть хмурую спесь или оскорбительную приветливость, нет нужды пытаться счастье в море или идти следом за войском. То, чего требует природа, доступно и достижимо, потеем мы лишь ради избытка. Ради него изнашиваем мы тогу, ради него старимся в палатках лагеря, ради него заносит нас на чужие берега. А то, чего с нас довольно, у нас под рукой. Кому и в бедности хорошо, тот богат. Будь здоров.

## Письмо 69

Сенека приветствует Луцилия!

Мне не хочется, чтобы ты странствовал и скакал с места на место: во-первых, частые поездки – признак нестойкости духа, который, пока не перестанет блуждать да озираться вокруг, не сможет утвердиться в привычке к досугу. Чтобы держать в узде душу, сперва остави бег тела. Во-вторых, чем длительнее лечение, тем больше от него пользы; нельзя прерывать покой, приносящий забвение прежней жизни. Дай глазам отучиться смотреть, дай ушам привыкнуть к спасительному слову. Как только ты двинешься с места, так еще по пути что-нибудь попадется тебе – и вновь распалит твои вожеления. Как влюбленным, чтобы избавиться от своей страсти, следует избегать всего напоминающего о любимом теле (ведь ничто не крепнет легче, чем любовь), так всякому, кто хочет погасить в себе прежние вожеленья, следует отвращать и взор и слух от покинутого, но еще недавно желанного. Страсть сразу поднимает мятеж: куда она ни обернется, тотчас же увидит рядом какую-нибудь приманку для своих притязаний. Нет зла без задатка: жадность сулит деньги, похотливость – множество разных наслаждений, честолюбие – пурпур, и рукоплескания, и полученное через них могущество, и все, что это могущество может. Пороки соблазняют тебя наградой; а тут тебе придется жить безвозмездно. И за сто лет нам не добиться, чтобы пороки, взращенные столь долгим потворством, покорились и приняли ярмо, а если мы еще будем дробить столь короткий срок – и подавно. Только непрерывное бдение и усердие доводят любую вещь до совершенства, да и то с трудом.

Если хочешь меня послушаться, думай об одном, готовься к одному: встретить смерть, а если подскажут обстоятельства, и приблизить ее. Ведь нет никакой разницы, она ли к нам придет, мы ли к ней. Внуши себе, что лжет общий голос невежд, утверждающих, будто «самое лучшее – умереть своей смертью». Чужой смертью никто не умирает. И подумай еще вот о чем: никто не умирает не в свой срок. Своего времени ты не потеряешь: ведь что ты оставляешь после себя, то не твое. Будь здоров.

## Письмо 70

Сенека приветствует Луцилия!

После долгого перерыва я вновь увидел твои Помпеи, а с ними и свою юность. Мне казалось, будто все, что я там делал в молодости, -

а было это совсем недавно, – я могу делать и сейчас. Но вся жизнь, Луцилий, у нас уже за кормой; и как в море, по словам нашего Вергилия, «отступают селенья и берег», так в быстром течении времени сперва скрывается из виду детство, потом юность, потом пора между молодостью и старостью, пограничная с обеими, и, наконец, лучшие годы самой старости; а недавно завиднелся общий для рода человеческого конец. Мы в безумии считаем его утесом, а это – пристань, и войти в нее иногда надо поспешить и никогда нельзя отказываться. А если кого

занесет туда в молодые годы, жаловаться на это – все равно что сетовать на быстрое плавание. Ты ведь сам знаешь: одного обманывают и держат ленивые ветерки, изводит долгой скукой затишье, другого быстрее быстрого несет стойкий ветер. То же и с нами: одних жизнь скоро-скоро привела туда, куда они пришли бы, даже если бы медлили, других долго била и допекала. Впрочем, как ты знаешь, за это не всегда нужно держаться: ведь благо – не сама жизнь, а жизнь достойная. Так что мудрый живет не сколько должен, а сколько может. Он посмотрит, где ему предстоит проводить жизнь, и с кем, и как, и в каких занятиях, он думает о том, как жить, а не сколько прожить. А если встретится ему много отнимающих покой тягот, он отпускает себя на волю, и не в последней крайности: чуть только фортуна становится подозрительной, он внимательно озирается, – не сегодня ли надо все прекратить. На его взгляд, нет разницы, положить ли конец или дождаться его, раньше он придет или позже: в этом мудрец не видит большого урона и не боится. Что капает по капле, того много не потеряешь. Раньше ты умрешь или позже – неважно, хорошо или плохо, – вот что важно. А хорошо умереть – значит, избежать опасности жить дурно. По-моему, только о женской слабости говорят слова того родосца, который, когда его по приказу тирана бросили в яму и кормили, как зверя, отвечал на совет отказаться от пищи: «Пока человек жив, он на все должен надеяться». Даже если это правда, не за всякую цену можно покупать жизнь. Пусть награда и велика и надежна, я все равно не желаю прийти к ней через постыдное признание моей слабости. Неужели я буду думать о том, что живому фортуна все может сделать, а не о том, что с умеющим умереть ей ничего не сделать?

Но иногда мудрец и в близости смерти, и зная о назначенной казни не приложит к ней рук. Глупо умирать от страха смерти. Пусть приходит убийца – ты жди! Зачем ты спешишь навстречу? Зачем берешь на себя дело чужой жестокости? Завидуешь ты своему палачу, что ли? Или щадишь его? Сократ мог покончить с собой, воздерживаясь от пищи, и умереть от голода, а не от яда, а он тридцать дней провел в темнице, ожидая смерти, – не в мыслях о том, что все может случиться, не потому, что такой долгий срок вмещает много надежд, но чтобы не нарушать законов, чтобы дать друзьям напоследок побывать с Сократом. Что было бы глупее, чем презирать смерть, а яда бояться?

Скрибония, женщина почтенная, была теткою Друза Либона, юноши столь же опрометчивого, сколь благородного: он надеялся на большее, чем можно было надеяться не только в его, но и в любой век. Когда его больным вынесли из сената на носилках, причем вынос сопровождало не так уж много людей (все близкие бесчестно отступились от него, уже не осужденного, а как бы казненного), он стал советоваться: самому ли ему принять смерть или дождаться ее. Тогда Скрибония сказала: «Какое тебе удовольствие делать чужое дело?» Но Друза она не убедила, он наложил на себя руки, и не без причины: ведь если обреченный на смерть еще жив на третий или четвертый день, то он, по мнению врага, делает не свое дело.

Нельзя вынести общего суждения о том, надо ли, когда внешняя сила угрожает смертью, спешить навстречу или дожидаться; ведь есть много такого, что тянет и в ту и в другую сторону. Если одна смерть под пыткой, а другая – простая и легкая, то почему бы за нее не ухватиться? Я тщательно выберу корабль, собираясь отплыть, или дом, собираясь в нем поселиться, – и так же я выберу род смерти, собираясь уйти из жизни. Помимо того, жизнь не всегда тем лучше, чем дольше, но смерть всегда чем дольше, тем хуже. Ни в чем мы не должны угождать душе так, как в смерти: пускай куда ее тянет, там и выходит; выберет ли она меч, или петлю, или питье, закупоривающее жилы, – пусть порвет цепи рабства, как захочет. Пока живешь, думай об одобрении других; когда умираешь – только о себе. Что тебе по душе, то и лучше.

Глупо думать так: «Кто-нибудь скажет, что мне не хватило мужества, кто-нибудь другой – что я испугался, а еще кто-нибудь – что можно выбрать смерть благороднее». – Неужели тебе невдомек, что тот замысел в твоих руках, к которому молва не имеет касательства? Смотри на одно: как бы побыстрее вырваться из-под власти фортуны, – а не то найдутся такие, что осудят твой поступок. Ты встретишь даже мудрецов по ремеслу, утверждающих, будто нельзя творить

насилие над собственной жизнью, и считающих самоубийство нечестьем: должно, мол, ожидать конца, назначенного природой. Кто так говорит, тот не видит, что сам себе преграждает путь к свободе. Лучшее из устроенного вечным законом – то, что он дал нам один путь в жизнь, но множество – прочь из жизни. Мне ли ждать жестокости недуга или человека, когда я могу выйти из круга муки, отбросить все бедствия? В одном не вправе мы жаловаться на жизнь: она никого не держит. Не так плохо обстоят дела человеческие, если всякий несчастный несчастен только через свой порок. Тебе нравится жизнь? Живи! Не нравится – можешь вернуться туда, откуда пришел. Чтобы избавиться от головной боли, ты часто пускал кровь; чтобы сбросить вес, отворяют жилу; нет нужды рассекать себе всю грудь – ланцет открывает путь к великой свободе, ценою укола покупается безмятежность.

Что же делает нас ленивыми и бессильными? Никто из нас не думает, что когда-нибудь да придется покинуть это жилище. Так старых жильцов привычка к месту делает снисходительными и удерживает в доме, как бы плохо в нем ни было. Хочешь быть свободным наперекор этой плоти? Живи так, словно завтра переедешь! Всегда имей в виду, что рано или поздно лишишься этого жилья, – и тогда ты мужественней перенесешь неизбежность выезда. Но как вспомнить о близком конце тем, чьи желанья не имеют конца? А ведь о нем-то нам необходимо всего размышлять, потому что подготовка к другому может оказаться и лишней. Ты закалил дух против бедности? А богатства остались при тебе. Мы вооружились, чтобы презирать боль? А счастье здорового и не узнавшего увечий тела никогда не потребует от нас применить на деле эту добродетель. Мы убедили себя, что нужно стойко выносить тоску по утрате? Но всем, кого мы любили, фортуна продлила дни дольше наших. И лишь готовности к одному потребует с нас день, который придет непременно.

И напрасно ты думаешь, что только великим людям хватало твердости взломать затворы человеческого рабства. Напрасно ты считаешь, что никому этого не сделать, кроме Катона, который, не испустив дух от меча, руками открыл ему дорогу. Нет, люди низшего разряда в неодолимом порыве убегали от всех бед и, когда нельзя было ни умереть без затруднений, ни выбрать орудие смерти по своему разумению, хватали то, что под рукой, своей силой превращая в оружие предметы, по природе безобидные. Недавно перед боем со зверями один из германцев, которых готовили для утреннего представления, отошел, чтобы опорожниться – ведь больше ему негде было спрятаться от стражи; там лежала палочка с губкой для подтирки срамных мест; ее-то он засунул себе в глотку, силой перегородив дыхание, и от этого испустил дух. – «Но ведь это оскорбление смерти!» – Пусть так! – «До чего грязно, до чего непристойно!» – Но есть ли что глупее, чем привередливость в выборе смерти? Вот мужественный человек, достойный того, чтобы судьба дала ему выбор! Как храбро пустил бы он в ход клинок! Как отважно бросился бы в пучину моря или под обрыв утеса! Но, лишенный всего, он нашел и должный способ смерти, и орудие; знай же, что для решившегося умереть нет иной причины к промедлению, кроме собственной воли. Пусть как угодно судят поступок этого решительного человека, лишь бы все согласилось, что самая грязная смерть предпочтительней самого чистого рабства. Однажды приведя низменный пример, я это и продолжу: ведь каждый большего потребует от себя, когда увидит, что презрели даже самые презируемые люди. Мы думаем, что Катоны, Сципионы и все, о ком мы привыкли слушать с восхищением, для нас вне подражания; а я покажу, что на играх со зверями отыщется не меньше примеров этой добродетели, чем среди вождей гражданской войны. Недавно, когда бойцов везли под стражей на утреннее представление, один из них, словно клюя носом в дремоте, опустил голову так низко, что она попала между спиц, и сидел на своей скамье, пока поворот колеса не сломал ему шею: и та же повозка, что везла его на казнь, избавила его от казни.

Кто захочет, тому ничто не мешает взломать дверь и выйти. Природа не удержит нас заперти; кому позволяет необходимость, тот пусть ищет смерти полегче; у кого в руках довольно орудий, чтобы освободить себя, тот пусть выбирает; кому не представится случая, тот пусть

хватается за ближайшее как за лучшее, хоть бы оно было и новым и неслыханным. У кого хватит мужества умереть, тому хватит и изобретательности. Ты видел, как последние рабы, если их допечет боль, схватываются и обманывают самых бдительных сторожей? Тот велик, кто не только приказал себе умереть, но и нашел способ. Я обещал привести тебе в пример много людей того же ремесла. Когда было второе потешное сражение кораблей, один из варваров тот дротик, что получил для боя с врагом, вонзил себе в горло. – «Почему бы мне, – сказал он, – не избежать сразу всех мук, всех помыкательств? Зачем ждать смерти, когда в руках оружие?» – И зрелище это было настолько же прекрасней, насколько благороднее, чтобы люди учились умирать, чем убивать.

Так неужели того, что есть у самых потерянных и зловредных душ, не будет у людей, закаленных против этих бедствий долгими раздумьями, наставленных всеобщим учителем – разумом? Он нас учит, что рок подступается к нам по-разному, а кончает одним: так велика ли важность, с чего он начнет, если исход одинаков? Этот-то разум и учит, чтобы ты умирал, как тебе нравится, если это возможно, а если нет – то как можешь, схватившись за первое попавшееся средство, учинить над собой расправу. Стыдно красть, чтобы жить, красть, чтобы умереть, – прекрасно. Будь здоров.

## Письмо 77

Сенека приветствует Луцилия!

Сегодня неожиданно показались в виду александрийские корабли, которые обычно высылаются вперед, чтобы возвестить скорый приход идущего вслед флота. Именуются они «посыльными». Их появление радует всю Кампанию: на молу в Путеолах стоит толпа и среди всей толпы кораблей различает по парусной оснастке суда из Александрии: им одним разрешено поднимать малый парус, который остальные распускают только в открытом море. Ничто так не ускоряет ход корабля, как верхняя часть паруса; она-то и толкает его всего сильнее. Поэтому, едва ветер крепчает и становится больше, чем нужно, рею приспускают: ведь по низу он дует слабее. Как только суда зайдут за Капрею и тот мыс, где Паллада глядит со своей скалистой вершины, все они поневоле должны довольствоваться одним парусом, – кроме александрийских, которые и приметны благодаря малому парусу.

Эта бегодня спешащих на берег доставила мне, ленивцу, большое удовольствие, потому что я должен был получить письма от своих, но не спешил узнать, какие новости о моих делах они принесут. Уже давно нет для меня ни убытка, ни прибыли. Даже не будь я стариком, мне следовало бы думать так, а теперь и подавно: ведь какую бы малость я ни имел, денег на дорогу у меня остается больше, чем самой дороги, – особенно с тех пор, как я вступил на такой путь, по которому нет необходимости пройти до конца. Нельзя считать путешествие совершенным, если ты остановился на полпути и не доехал до места; а жизнь не бывает несовершенной, если прожита честно. Где бы ты ни прервал ее, она вся позади, лишь бы хорошо ее прервать. А прервать ее часто приходится и не по столь уж важным причинам, так как и то, что нас держит, не так уж важно.

Туллий Марцеллин, которого ты хорошо знал, провел молодость спокойно, но быстро состарился и, заболев недугом хоть и не смертельным, но долгим, тяжким и многого требующим от больного, начал раздумывать о смерти. Он созвал множество друзей; одни, по робости, убеждали его в том же, в чем убеждали бы и себя, другие – льстивые и угодливые – давали такой совет, какой, казалось им, будет по душе сомневающемуся. Только наш друг-стоик, человек незаурядный и – говорю ему в похвалу те слова, которых он заслуживает, – мужественный и решительный, указал наилучший, на мой взгляд, выход. Он сказал: «Перестань-ка, Марцеллин, мучиться так, словно обдумываешь очень важное дело! Жить – дело не такое уж важное; живут и все твои рабы, и животные; важнее умереть честно, мудро и храбро. Подумай, как

давно занимаешься ты все одним и тем же: еда, сон, любовь – в этом кругу ты и вертишься. Желать смерти может не только мудрый и храбрый либо несчастный, но и пересыщенный». Марцеллину нужен был, однако, не совет, а помощь: рабы не хотели ему повиноваться. Тогда наш друг прежде всего избавил их от страха, указав, что челяди грозит наказание, только когда неясно, была ли смерть хозяина добровольной, а иначе так же дурно удерживать господина, как и убивать его. Потом он и самому Марцеллину напомнил, что человечность требует – так же как после ужина мы раздаем остатки стоящим вокруг стола – уделить хоть что-нибудь, когда жизнь окончена, тем, кто всю жизнь был нам слугою. Марцеллин был мягок душою и щедр, даже когда дело касалось его добра; он роздал плачущим рабам по небольшой толике денег и к тому же утешил их. Ему не понадобилось ни железа, ни крови: три дня он воздерживался от пищи, приказав в спальне повесить полог. Потом принесли ванну, в которой он долго лежал и, покуда в нее подливали горячую воду, медленно впадал в изнеможение, – по собственным словам, не без некоторого удовольствия, какое обычно испытывают, постепенно теряя силы; оно знакомо нам, частенько теряющим сознание.

Я отступил от предмета ради рассказа, который будет тебе по душе, – ведь ты узнаешь из него, что кончина твоего друга была не тяжкой и не жалкой. Хоть он и сам избрал смерть, но отошел легко, словно выскользнул из жизни. Но рассказ мой был и не без пользы: нередко сама неизбежность требует таких примеров. Часто мы должны умереть – и не хотим умирать, умираем – и не хотим умирать. Нет такого невежды, кто не знал бы, что в конце концов умереть придется; но стоит смерти приблизиться, он отлынивает, дрожит и плачет. Разве не счел бы ты глупцом из глупцов человека, слезно жалующегося на то, что он еще не жил тысячу лет назад? Не менее глуп и жалующийся на то, что через тысячу лет уже не будет жить. Ведь это одно и то же: тебя не будет, как не было раньше. Время и до нас, и после нас не наше. Ты заброшен в одну точку; растягивай ее, – но до каких пор? Что ты жалуешься? Чего хочешь? Ты даром трагишь силы!

И не надейся мольбой изменить решения всевышних!

Они тверды и неизменны, и направляет их великая и вечная необходимость. Ты пойдешь туда же, куда идет все. Что тут нового для тебя? Под властью этого закона ты родился! То же случилось и с твоим отцом, и с матерью, и с предками, и со всеми, кто был до тебя, и со всеми, кто будет после. Непобедимая и никакой силой не изменяемая череда связывает и влечет всех. Какая толпа умерших шла впереди тебя, какая толпа пойдет следом! Сколько их будет твоими спутниками! Я думаю, ты стал бы храбрее, вспомнив о многих тысячах твоих товарищей по смерти. Но ведь многие тысячи людей и животных испускают дух от бесчисленных причин в тот самый миг, когда ты не решаешься умереть. Неужто ты не думал, что когда-нибудь придешь туда, куда шел все время? Нет пути, который бы не кончился.

А теперь, по-твоему, я должен привести тебе в пример великих людей? Нет, я приведу ребенка. Жива память о том спартанце, еще мальчишке, который, оказавшись в плену, кричал на своем дорийском наречии: «Я не раб!»-и подтвердил эти слова делом. Едва ему приказали выполнить унижительную рабскую работу – унести непристойный горшок – как он разбил себе голову о стену. Вот как близко от нас свобода. И при этом люди рабствуют! Разве ты не предпочел бы, чтобы твой сын погиб, а не старился в праздности? Есть ли причина тревожиться, если и дети могут мужественно умереть? Думай сколько хочешь, что не желаешь идти вслед, – все равно тебя поведут. Так возьми в свои руки то, что сейчас в чужой власти! Или тебе недоступна отвага того мальчишки, не под силу сказать: «Я не раб»? Несчастный, ты раб людей, раб вещей, раб жизни. Ибо жизнь, если нет мужества умереть, – это рабство.

Есть ли ради чего ждать? Все наслаждения, которые тебя удерживают и не пускают, ты уже перепробовал, ни одно для тебя не ново, ни одно не приелось и не стало мерзко. Вкус вина и меда тебе знаком, и нет разницы, сто или тысяча кувшинов пройдет через твой мочевой пузырь: ты ведь – только цедило. Ты отлично знаешь, каковы на вкус устрицы, какова красно-

бородка; твоя жадность к наслаждениям не оставила тебе на будущее ничего неотведенного. А ведь как раз от этого ты и отрываешься с наибольшей неохотой. С чем еще тебе больно расстаться? С друзьями, с родиной? Да ценишь ли ты ее настолько, чтобы ради нее позже поужинать? С солнцем? Да ты, если бы мог, погасил бы само солнце. Что ты сделал достойное его света? Признайся, не тоска по курии, по форуму, по самой природе делает тебя таким медлительным, когда нужно умереть: тебе неохота покидать мясной рынок, на котором ты ничего не оставил. Ты боишься смерти; да и как тебе ее презреть среди удовольствий? Ты хочешь жить: значит, ты знаешь, как жить? Ты боишься умереть, – так что же? Разве такая жизнь не все равно что смерть? Га й Цезарь, когда однажды переходил через Латинскую дорогу и кто-то из взятых под стражу, с бородой, отросшей по грудь, попросил у него смерти, ответил: «А разве сейчас ты живешь?» Так надо бы отвечать и тем, для кого смерть была бы избавлением: «Ты боишься умереть? А разве сейчас ты живешь?» – «Но я хочу жить потому, что делаю немало честного; мне нет охоты бросать обязанности, налагаемые жизнью: ведь я исполняю их неукоснительно и неустанно». – А разве ты не знаешь, что и умереть – это одна из налагаемых жизнью обязанностей! Ты никаких обязанностей не бросаешь: ведь нет точно определенного их числа, которое ты должен выполнить. Всякая жизнь коротка: если ты оглянешься на природу вещей, то короток будет даже век Нестора и Сатии, которая приказала написать на своем памятнике, что прожила девяносто девять лет. Ты видишь, старуха хвастается долгой старостью; а проживи она полных сто лет, кто мог бы ее вытерпеть? Жизнь – как пьеса: не то важно, длинна ли она, а то, хорошо ли сыграна. К делу не относится, тут ли ты оборвешь ее или там. Где хочешь, там и оборви – только бы развязка была хороша! Будь здоров.

## Мишель Монтень Опыты

### О том, как надо судить о поведении человека перед лицом смерти

Когда мы судим о твердости, проявленной человеком пред лицом смерти, каковая есть несомненно наиболее значительное событие нашей жизни, необходимо принять во внимание, что люди с трудом способны поверить, будто они и впрямь подошли уже к этой грани. Мало кто умирает, понимая, что минуты его сочтены; нет ничего, в чем нас в большей мере тешила бы обманчивая надежда; она непрестанно нашептывает нам: «Другие были больны еще тяжелее, а между тем не умерли. Дело обстоит совсем не так уже безнадежно, как это представляется; и в конце концов господь явил немало других чудес». Происходит же это оттого, что мы мним о себе слишком много; нам кажется, будто совокупность вещей испытает какое-то потрясение от того, что нас больше не будет, и что для нее вовсе не безразлично, существуем ли мы на свете; к тому же наше извращенное зрение воспринимает окружающие нас вещи неправильно, и мы считаем их искаженными, тогда как в действительности оно само искажает их; в этом мы уподобляемся едущим по морю, которым кажется, будто горы, поля, города, земля и небо двигаются одновременно с ними.

*Provehimur portu, terraque urbesque recedunt.*<sup>18</sup>

Видел ли кто когда-нибудь старых людей, которые не восхваляли бы доброе старое время, не поносили бы новые времена и не возлагали бы вину за свои невзгоды и горести на весь мир и людские нравы?

*Iamque caput quassans, grandis suspirat arator,  
Et cum tempora temporibus praesentia confert  
Praeteritis, laudat fortunas saepe parentis,  
Et crepat antiquum genus ut pietate remletum.*<sup>19</sup>

Мы ко всему подходим с собственной меркой, и из-за этого наша смерть представляется нам событием большой важности; нам кажется, будто она не может пройти бесследно, без того чтобы ей не предшествовало торжественное решение небесных светил: *tot circa unum caput tumultuantes deos.*<sup>20</sup> И чем большую цену мы себе придаем, тем более значительной кажется нам наша смерть: «Как! Неужели она решится погубить столько знаний, неужели причинит столько ущерба, если на то не будет особого волеизъявления судеб? Неужели она с тою же легкостью способна похитить столь редкостную и образцовую душу, с какою она похищает душу обыденную и бесполезную? И эта жизнь, обеспечивающая столько других, жизнь, от которой зависит такое множество других жизней, которая дает пропитание стольким людям, которой принадлежит столько места, должна будет освободить это место совершенно так же, как та, что держится на тоненькой ниточке?»

---

<sup>18</sup> Мы покидаем гавань, и города и земли скрываются из виду. [Вергилий. Энеида, III, 72]

<sup>19</sup> Старик-пахарь со вздохом качает головой, сравнивая настоящее с прошлым, беспрестанно восхваляет благоденствие отцов, твердя о том, как велико было благочестие предков. [Лукреций, II, 1165]

<sup>20</sup> Столько богов, суетящихся вокруг одного человека. [Сенека Старший. Контroversы, IV, 3]

Всякий из нас считает себя в той или иной мере чем-то единственным, и в этом – смысл слов Цезаря, обращенных им к кормчему корабля, на котором он плыл, слов, еще более надменных, чем море, угрожающее его жизни:

Italiam si, caelo auctore, recusas,  
Me pete: sola tibi causa haec est iusta timoris,  
Vectorem non nosse tuum; perrumpe procellas,  
Tutela secure mei;<sup>21</sup>

или, например, этих:

credit iam digna pericula Caesar  
Fatis esse suis; tantusque evertere dixit,  
Me superis labor est, parva quem puppe sedentem  
Tam magno petiere mari?<sup>22</sup>

а также нелепого официального утверждения, будто солнце на протяжении года, следовавшего за его смертью, носило на своем челе траур по нем:

Ille etiam extinco miseratus Caesare Roman,  
Cum caput obscura nitidum ferrugine texit.<sup>23</sup>

И тысячи подобных вещей, которыми мир с такой поразительной легкостью позволяет себя обманывать, считая, что небеса заботятся о наших нуждах и что их бескрайние просторы откликаются на малейшие поступки: *Non tanta caelo societas nobiscum est ut nostro fato mortalis sit ille quoque siderum fulgor.*<sup>24</sup>

Итак, нельзя признавать решимость и твердость в том, кто, кем бы он ни был, еще не вполне уверен, что пребывает в опасности; и даже если он умер, обнаружив эти высокие качества, но не отдавая себе отчета, что умирает, то и этого недостаточно для такого признания: большинству людей свойственно выказывать стойкость и на лице и в речах; ведь они пекутся о доброй славе, которой хотят насладиться, оставшись в живых. Мне доводилось наблюдать умирающих, и обыкновенно не преднамеренное желание, а обстоятельства определяли их поведение. Если мы вспомним даже о тех, кто лишил себя жизни в древности, то и тут следует различать, была ли их смерть мгновенною или длительною. Некий известный своею жестокостью император Древнего Рима говорил о своих узниках, что хочет заставить их почувствовать смерть; и если кто-нибудь из них кончал с собой в тюрьме, этот император говаривал: «Такой-то ускользнул от меня»; он хотел растянуть для них смерть и, обрекая их на мучения, заставить ее почувствовать:

Vidimus et toto quamvis in corpore caeso  
Nil animae letale datum, moremque nefandae

---

<sup>21</sup> Если небо тебе повелевает покинуть берега Италии, повинуйся мне. Ты боишься только потому, что не знаешь, кого ты везешь; несись же сквозь бурю, твердо положившись на мою защиту. [*Лукан*, V, 579]

<sup>22</sup> Цезарь счел тогда, что эти опасности достойны его судьбы. Видно, сказал он, всевышним необходимо приложить такое большое усилие, чтобы погубить меня, если они насылают весь огромный океан на утлое суденышко, на котором я нахожусь? [*Лукан*, V, 653]

<sup>23</sup> Когда Цезарь угас, само солнце скорбело о Риме и, опечалившись, прикрыло свой сияющий лик зловещей темной повязкой. [*Вергилий*. Георгики, I, 466]

<sup>24</sup> Нет такой неразрывной связи между небом и нами, чтобы сияние небесных светил должно было померкнуть вместе с нами. [*Плиний Старший*. Естественная история, II, 6]

*Durum saevitiae pereuntis parcere morti.*<sup>25</sup>

И действительно, совсем не такое уж великое дело, пребывая в полном здравии и душевном спокойствии, принять решение о самоубийстве; совсем нетрудно изображать храбреца, пока не приступишь к выполнению замысла; это настолько нетрудно, что один из наиболее изнеженных людей, когда-либо живших на свете, Элагабал среди прочих своих постыдных прихотей, возымел намерение покончить с собой в случае, если его принудят к этому обстоятельству – самым изысканным образом, так, чтобы не посрамить всей своей жизни. Он велел возвести роскошную башню, низ и фасад которой были облицованы деревом, изукрашенным драгоценными камнями и золотом, чтобы броситься с нее на землю; он заставил изготовить веревки из золотых нитей и алого шелка, чтобы удавиться; он велел выковать золотой меч, чтобы заколоться; он хранил в сосудах из топаза и изумруда различные яды, чтобы отравиться. Все это он держал наготове, чтобы выбрать по своему желанию один из названных способов самоубийства:

*Impiger et fortis virtute coacta.*<sup>26</sup>

И все же, что касается этого выдумщика, то изысканность всех перечисленных приготовлений побуждает предполагать, что если бы дошло до дела, и у него бы кишка оказалась тонка. Но, говоря даже о тех, кто, будучи более сильным, решился привести свой замысел в исполнение, нужно всякий раз, повторяю, принимать во внимание, был ли нанесенный ими удар таковым, что у них не было времени почувствовать его следствия: ибо еще неизвестно, сохраняли бы они твердость и упорство в столь роковом стремлении, если б видели, как медленно покидает их жизнь, если б телесные страдания сочетались в них со страданиями души, если б им представлялась возможность раскаяться.

Во времена гражданских войн Цезаря Луций Домиций, будучи схвачен в Абрुццах, принял яд, но тотчас же раскаялся в этом. И в наше время был такой случай, что некто, решив умереть, не смог поразить себя с первого раза насмерть, так как страстное желание жить, обуявшее его естество, сковывало ему руку; все же он нанес себе еще два-три удара, но так и не сумел превозмочь себя и нанести себе смертельную рану. Когда стало известно, что против Плавция Сильвана затевает судебный процесс, Ургулания, его бабка, прислала ему кинжал; не найдя в себе сил заколоться, он велел своим людям вскрыть ему вену. В царствование Тиберия Альбуцилла, приняв решение умереть, ранила себя настолько легко, что доставила своим врагам удовольствие бросить ее в тюрьму и расправиться с ней по своему усмотрению. То же произошло и с полководцем Демосфеном после его похода в Сицилию. Гай Фимбрия, нанеся себе слишком слабый удар, принудил своего слугу прикончить его. Напротив, Осторий, не имея возможности действовать собственной рукой, не пожелал воспользоваться рукой своего слуги для чего-либо иного, кроме как для того, чтобы тот крепко держал перед собой кинжал; бросившись с разбегу на его острие, Осторий пронзил себе горло. Это поистине такое яство, которое, если не обладаешь луженым горлом, нужно глотать не жуя; тем не менее император Адриан повелел своему врачу указать и очертить у него на груди то место возле соска, удар в которое был бы смертельным и куда надлежало метить тому, кому он поручит его убить. Вот почему, когда Цезаря спросили, какую смерть он находит наиболее легкой, он ответил: «Ту, которой меньше всего ожидаешь и которая наступает мгновенно».

---

<sup>25</sup> Видели мы, что, хотя все его тело было истерзано, смертельный удар еще не нанесен и что безмерно жестокий обычай продлевает его еле теплящуюся жизнь. [Лукан, II, 178]

<sup>26</sup> Ретивый и смелый по необходимости (лат.). [Лукан, IV, 798]

Если сам Цезарь решился высказать такое суждение, то и мне незазорно признаться, что я думаю так же.

«Мгновенная смерть, – говорит Плиний, – есть высшее счастье человеческой жизни». Людям страшно сводить знакомство со смертью. Кто боится иметь дело с нею, кто не в силах смотреть ей прямо в глаза, тот не вправе сказать о себе, что он приготовился к смерти; что же до тех, которые, как это порою случается при совершении казней, сами стремятся навстречу своему концу, торопят и подталкивают палача, то они делают это не от решимости; они хотят сократить для себя срок пребывания с глазу на глаз со смертью. Им не страшно умереть, им страшно умирать,

Emori nolo, sed me esse mortuum nihil aestimo.<sup>27</sup>

Это та степень твердости, которая, судя по моему опыту, может быть достигнута также и мною, как она достигается теми, кто бросается в гущу опасностей, словно в море, зажмурив глаза.

Во всей жизни Сократа нет, по-моему, более славной страницы, чем те тридцать дней, в течение которых ему пришлось жить с мыслью о приговоре, осуждавшем его на смерть, все это время сживаться с нею в полной уверенности, что приговор этот совершенно неотвратим, не выказывая при этом ни страха, ни душевного беспокойства и всем своим поведением и речами обнаруживая скорее, что он воспринимает его как нечто незначительное и безразличное, а не как существенное и единственно важное, занимающее собой все его мысли.

Помпоний Атик, тот самый, с которым переписывался Цицерон, тяжело заболев, призывал к себе своего тестя Агриппу и еще двух-трех друзей и сказал им: так как он понял, что лечение ему не поможет и что все, что он делает, дабы продлить себе жизнь, продлевает вместе с тем и усиливает его страдания, он решил положить одновременно конец и тому и другому; он просил их одобрить его решение и уж во всяком случае избавить себя от труда разубеждать его. Итак, он избрал для себя голодную смерть, но случилось так, что, воздерживаясь от пищи, он исцелился: средство, которое он применил, чтобы разделаться с жизнью, возвратило ему здоровье. Когда же врачи и друзья, обрадованные столь счастливым событием, явились к нему с поздравлениями, их надежды оказались жестоко обманутыми; ибо, несмотря на все уговоры, им так и не удалось заставить его изменить принятое решение: он заявил что поскольку так или иначе ему придется переступить этот порог, то раз он зашел уже так далеко, он хочет освободить себя от труда начинать все сначала. И хотя человек, о котором идет речь, познакомился со смертью заранее, так сказать на досуге, он не только не потерял охоты встретиться с нею, но, напротив, всей душой продолжал жаждать ее, ибо, достигнув того, ради чего он вступал в это единоборство, он побуждал себя, подстегиваемый своим мужеством, довести начатое им до конца. Это нечто гораздо большее, чем бесстрашие перед лицом смерти, это неудержимое желание изведать ее и насладиться ею досыта.

История философа Клеанфа очень похожа на только что рассказанную. У него распухли и стали гноиться десны; врачи посоветовали ему воздержаться от пищи; он проголодал двое суток и настолько поправился, что они объявили ему о полном его исцелении и разрешили вернуться к обычному образу жизни. Он же, изведав уже некую сладость, порождаемую угасанием сил, принял решение не возвращаться вспять и переступил порог, к которому успел уже так близко придвинуться.

Туллий Марцеллин, молодой римлянин, стремясь избавиться от болезни, терзавшей его сверх того, что он соглашался вытерпеть, захотел предвосхитить предназначенный ему судьбой срок, хотя врачи и обещали если не скорое, то во всяком случае верное его исцеление. Он

---

<sup>27</sup> Я не боюсь оказаться мертвым; меня страшит умирание (лат.).

пригласил друзей, чтобы посоветоваться с ними. Одни, как рассказывает Сенека, давали ему советы, которые из малодушия они подали бы и себе самим; другие из лести советовали ему сделать то-то и то-то, что, по их мнению, было бы для него всего приятнее. Но один стоик сказал ему следующее: «Не утруждай себя, Марцеллин, как если бы ты раздумывал над чем-либо стоящим. Жить – не такое уж великое дело; живут твои слуги, живут и дикие звери; великое дело – это умереть достойно, мудро и стойко. Подумай, сколько раз проделывал ты одно и то же – ел, пил, спал, а потом снова ел; мы без конца вращаемся в том же кругу. Не только неприятности и несчастья, вынести которые не под силу, но и пресыщение жизнью порождает в нас желание умереть». Марцеллину не столько нужен был тот, кто снабдил бы его советом, сколько тот, кто помог бы ему в осуществлении его замысла, ибо слуги боялись быть замешанными в подобное дело. Этот философ, однако, дал им понять, что подозрения падают на домашних только тогда, когда существуют сомнения, была ли смерть господина вполне добровольной, а когда на этот счет сомнений не возникает, то препятствовать ему в его намерении столь же дурно, как и злодейски убить его, ибо

*Invitum qui servat idem facit occidenti.*<sup>28</sup>

Он сказал, сверх того, Марцеллину, что было бы уместным распределить по завершении жизни кое-что между теми, кто окажет ему в этом услуги, напомнив, что после обеда гостям предлагают десерт. Марцеллин был человеком великодушным и щедрым; он оделил своих слуг деньгами и постарался утешить их. Впрочем, в данном случае не понадобилось ни стали, ни крови. Он решил уйти из жизни, а не бежать от нее; не устремляться в объятия смерти, но предварительно познакомиться с нею. И чтобы дать себе время основательно рассмотреть ее, он стал отказываться от пищи и на третий день, велел обмыть себя теплой водой, стал медленно угасать, не без известного наслаждения, как он говорил окружающим. И действительно, пережившие такие замирения сердца, возникающие от слабости, говорят, что они не только не ощущали никакого страдания, но испытывали скорее некоторое удовольствие, как если бы их охватил сон и глубокий покой.

Вот примеры заранее обдуманной и хорошо изученной смерти.

Но желая, чтобы только Катон и никто другой явил миру образец несравненной доблести, его благодетельная судьба расслабила, как кажется, руку, которой он нанес себе рану. Она сделала это затем, чтобы дать ему время сразиться со смертью и вцепиться ей в горло и чтобы пред лицом грозной опасности он мог укрепить в своем сердце решимость, а не ослабить ее. И если бы на мою долю выпало изобразить его в это самое возвышенное мгновение всей его жизни, я показал бы его окровавленным, вырывающим свои внутренности, а не с мечом в руке, каким запечатлели его ваятели того времени: ведь для этого второго самоубийства потребовалось неизмеримо больше бесстрашия, чем для первого.

---

<sup>28</sup> Спасти человека против воли – все равно, что совершить убийство (лат.). [Гораций. Наука поэзии, 467]

## Давид Юм О самоубийстве

Из благотворных последствий, вызываемых философией, далеко не последнее заключается в том, что она доставляет наилучшее противоядие против суеверия и ложной религии. Все другие средства против этой губительной язвы тщетны или в лучшем случае ненадежны. Простой здравый смысл и житейская мудрость, которых достаточно для большинства жизненных целей, здесь оказываются недействительными. Как история, так и повседневный опыт доставляют нам примеры людей, наделенных наилучшими способностями к практической деятельности, но всю свою жизнь пресмыкавшихся под гнетом самого грубого суеверия. Даже веселость и кротость нрава, проливающие бальзам на все прочие раны, бессильны против столь губительного яда; мы можем в особенности наблюдать это у прекрасного пола: хотя последний и обладает обычно указанными богатыми дарами природы, однако многие из его радостей отравляются этим несносным пришельцем. Но когда здравая философия получает господство над духом, суеверию действительно приходит конец, и можно смело утверждать, что ее торжество над этим врагом более полное, нежели над большинством пороков и несовершенств, которым подвержена человеческая природа. Любовь или гнев, честолюбие или скупость имеют свои корни в нраве и в аффектах, исправить которые едва ли в силах даже самый здравый разум; но суеверие, будучи основано на ложном мнении, должно тотчас же исчезнуть, едва лишь истинная философия внушит нам более правильные представления о высших силах. Здесь идет более равная борьба между болезнью и лекарством, помешать последнему доказать свою действительность не в силах ничто, кроме его собственной ложности и софистичности.

Здесь было бы излишне возвеличивать заслуги философии, раскрывая губительные тенденции того порока, от которого она избавляет человеческий дух. Суеверный человек, говорит Туллий<sup>29</sup> жалок в любом положении, в любом случае жизни; даже сон, который рассеивает все другие заботы злополучных смертных, дает ему повод к новым страхам, ибо, вдумываясь в свои грезы, он находит в этих ночных видениях предвестие грядущих бедствий. Я могу прибавить, что, хотя только смерть в силах положить навсегда предел его злополучию, он не решается прибегнуть к данному пристанищу, но продолжает свое жалкое существование из-за пустого страха перед тем, как бы не оскорбить своего творца, воспользовавшись властью, которую это благодетельное существо даровало ему. Дары Бога и природы похищаются у нас этим жестоким врагом, и, несмотря на то, что один шаг вывел бы нас из обители мучений и скорби, угрозы суеверия все же приковывают нас к ненавистной жизни, которую оно же само главным образом и делает жалкой.

Замечено, что если тех, кого бедствия жизни привели к необходимости прибегнуть к указанному роковому средству, несвоевременная заботливость их друзей лишит возможности умереть так, как они решили, то они редко дерзают прибегнуть к какому-нибудь другому способу смерти или могут вторично настолько собраться с духом, чтобы привести в исполнение свое намерение. Столь велик наш трепет перед смертью, что когда она представляется в какой-нибудь иной форме, кроме той, с которой человек старался примирить свое воображение, то она приобретает новые оттенки ужаса и превозмогает его слабую решимость. Но когда к этой природной робости присоединяются угрозы суеверия, то неудивительно, что люди совершенно лишаются всякой власти над своей жизнью, ибо даже многие наслаждения и удовольствия, к которым нас влечет сильная склонность, похищаются у нас этим бесчеловечным тираном. Постараемся же вернуть людям их врожденную свободу, разобрав все обычные аргументы про-

---

<sup>29</sup> De Divin.lib., II, 72, 150.

тив самоубийства и показав, что указанное деяние свободно от всякой греховности и не подлежит какому-либо порицанию в соответствии с мнениями всех древних философов.

Если самоубийство преступно, то оно должно быть нарушением нашего долга или по отношению к Богу, или по отношению к нашим ближним, или по отношению к нам самим. Для доказательства того, что самоубийство не есть нарушение нашего долга по отношению к Богу, будут, быть может, достаточны следующие соображения. Чтобы управлять материальным миром, всемогущий Создатель установил общие и неизменные законы, в силу которых все тела от величайшей планеты до мельчайшей частицы материи придерживаются свойственной им сферы и деятельности. Чтобы управлять животным миром, он наделил все живые существа телесными и духовными силами: чувствами, аффектами, стремлениями, памятью и способностью суждения, которыми они побуждаются к действиям и направляются на том жизненном пути, к которому они предназначены. Эти два различных начала материального и животного миров постоянно сталкиваются друг с другом и взаимно замедляют или ускоряют свои действия. Силы человека и других животных сдерживаются и направляются природой и свойствами окружающих тел, а видоизменения и действия указанных тел непрерывно меняются под воздействием всех живых существ. Реки преграждают человеку путь в его странствованиях по поверхности земли; и реки же, соответственным образом направленные, передают свою силу машинам, которые служат человеку. Но хотя области материальных и животных сил не разделены всецело, все же отсюда не происходит никакого разлада или беспорядка во вселенной, наоборот, из этого смешения, соединения и противоположения различных сил, принадлежащих неодушевленным телам и живым созданиям, возникают та удивительная гармония и соразмерность, которые доставляют самый надежный аргумент в пользу верховной мудрости. Божественное провидение не проявляется непосредственно в каком-либо одном действии, но управляет всем при помощи тех общих и неизменных законов, которые были установлены испокон веков. Все события в известном смысле могут быть названы деянием Всемогущего; все они происходят из тех сил, которыми он наделил свои творения. Дом, падающий в силу собственной тяжести, не более обязан своим падением его провидению, чем дом, разрушаемый стараниями людей; и человеческие способности не в меньшей степени дело его рук, чем законы движения и тяготения. Когда разыгрываются страсти, когда рассудок повелевает, а члены повинуются, – все это действия Бога; и это одушевленные принципы в той же степени, как и неодушевленные, послужили ему для установления миропорядка. Всякое событие одинаково важно для бесконечного существа, которое одним взором охватывает самые далекие области пространства и отдаленнейшие периоды времени. Нет ни одного события, как бы важно оно для нас ни было, которое бы он изъял из своих общих законов, управляющих вселенной, или которое он в виде исключения приберег бы для своего непосредственного акта или действия. Перевороты в государствах и империях зависят от самой вздорной прихоти или аффектов одного человека, и жизнь людей сокращается или удлиняется из-за малейшей случайности: состояния атмосферы, пищи, ясной или бурной погоды. Природа, однако, продолжает свое поступательное движение и сохраняет свой образ действий, и если общие законы нарушаются когда-либо единичными велениями Божества, то это происходит таким путем, который всецело ускользает от человеческого наблюдения. Если, с одной стороны, стихии и другие неодушевленные части вселенной продолжают осуществлять свои действия, не обращая внимания на частные интересы и положение людей, то, с другой – люди при различных столкновениях материи предоставлены своим собственным суждениям и решениям и могут пользоваться каждой способностью, которой они одарены, чтобы обеспечить свое благополучие, счастье или самосохранение. Каков же в таком случае смысл принципа, гласящего, что человек, который, устав от жизни и будучи преследуем страданиями и несчастьями, смело преодолевает до конца естественный страх перед смертью и покидает этот жестокий мир, что такой человек, говоря я, навлекает на себя негодование своего Создателя, посягнув на дело

божественного провидения и внеся смятение в мировой порядок? Станем ли мы утверждать, что Всемогущий в виде некоторого исключения приберет для себя лично распоряжение жизнью людей и не подчинил данного события наравне с другими общим законам, которые управляют вселенной? Это явная неправда: жизнь людей зависит от тех же законов, что и жизнь других живых существ; а последняя подчинена общим законам материи и движения. Падение башни или принятие яда разрушит человека наравне с мельчайшей тварью; наводнение смоем все без различия, что бы ни оказалось на пути его ярости. Таким образом, если жизнь людей всегда подчинена общим законам материи и движения, то не оттого ли поступок человека, распоряжающегося своей жизнью, преступен, что во всех случаях преступно посягать на указанные законы или вносить смятение в их действия? Но это, по-видимому, нелепо: все живые существа предоставлены в том, что касается их поведения в мире, собственной осмотрительности и сноровке и имеют полное право по мере своих сил изменять все действия природы. Не пользуясь этим правом, они не могли бы просуществовать и мгновения; всякий поступок, всякое движение человека видоизменяет порядок некоторых частей материи и отклоняет общие законы движения от их обычного хода. Сопоставляя эти заключения, мы находим, что человеческая жизнь подчинена общим законам материи и движения и что нарушать эти общие законы или вносить в них изменения не является посягательством на дело проведения. Не волен ли, следовательно, каждый свободно распоряжаться своей жизнью? И не имеет ли он полного права пользоваться той властью, которой наделила его природа? Чтобы свести на нет очевидность данного заключения, мы должны указать основание, в силу которого этот частный случай является исключением; не состоит ли такое основание в том, что человеческая жизнь есть нечто чрезвычайно важное, так что располагать ею по человеческому усмотрению есть дерзость? Но жизнь человека не более важна для вселенной, чем жизнь устрицы. И как бы она ни была важна, устройство человеческой природы на деле подчиняет ее человеческому благоразумию и приводит нас к необходимости в каждом отдельном случае принимать решения относительно нее. Если бы распоряжение человеческой жизнью было оставлено за собой Всемогущим в качестве дела, подлежащего его особому ведению, так что распоряжаться своей жизнью было бы со стороны людей посягательством на его право, то было бы одинаково преступно действовать как ради сохранения жизни, так и ради ее разрушения. Если я отстраняю камень, падающий на мою голову, я нарушаю ход природы и посягаю на особую область действий Всемогущего, продлевая свою жизнь за пределы того периода, который он предрекал ей на основании общих законов материи и движения.

Волос, муха, насекомое в силах разрушить это могущественное существо, жизнь которого имеет столь большое значение. Так разве нелепо предположить, что человеческое благоразумие имеет право распоряжаться тем, что зависит от столь незначительных причин? С моей стороны не было бы преступлением изменить течение Нила и Дуная, если бы я был в силах осуществить подобные намерения. Почему же в таком случае преступно отвести несколько унций крови от ее естественного русла?

Не воображаете ли вы, что я ропщу на проведение и клянусь день своего рождения потому, что оставляю жизнь и кладу предел существованию, которое, будь оно продолжено, сделало бы меня несчастным? Да останутся мне чужды подобные взгляды! Я только убежден в факте, который вы сами признаете возможным, а именно в том, что человеческая жизнь может быть несчастной и что мое существование, если бы оно было продлено далее, стало бы незавидным; но я благодарю провидение как за те блага, которые уже вкусил, так и за предоставленную мне власть избежать грозящих мне зол «*Agamus Deo gratias, quod nemo in vita teneri potest*». – *Seneca, Epist., XII.*<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Возблагодарим же Бога за то, что никого нельзя [силою] заставить жить дальше (*Сенека. Письма, XII*).

Это вам надо бы роптать на проведение, вам, по глупости своей воображающим, что вы не обладаете такой властью, и вынужденным все же продолжать ненавистную жизнь хотя бы и под бременем мучений, болезней, стыда и нужды.

Не учите ли вы сами, что когда меня постигает какая-нибудь беда, пусть и в силу козней моих врагов, то я должен покориться проведению, и что поступки людей в той же степени, как и действия неодушевленных существ, суть действия Всемогущего? Поэтому, когда я бросаюсь на собственный меч, я так же получаю смерть от руки Божества, как и тогда, когда причиной ее были бы лев, пропасть или лихорадка. Требуемая вами покорность провидению в каждом бедствии, которое постигает меня, не исключает человеческой ловкости и находчивости, если при их посредстве я, быть может, сумею избежать несчастья. И почему я не могу пользоваться одним средством в той же мере, как и другим?

Если моя жизнь не моя собственность, то с моей стороны было бы в такой же мере преступно подвергать ее опасности, как и располагать ею, и не могло бы быть так, чтобы один человек, которого слава и дружба побуждают идти навстречу величайшим опасностям, заслуживал название *героя*, а другой, который по тем же или похожим мотивам кладет предел своей жизни, был достоин прозвища *негодяя* или *богоотступника*.

Нет такого существа, которое обладало бы силой или способностью, полученной им не от Создателя; нет и такого, которое могло бы каким-либо, хотя бы самым несообразным, поступком извратить план его провидения или внести беспорядок во вселенную. Действия любого существа суть дела Бога наравне с той цепью событий, в которую данное существо вторгается, и, какой бы принцип ни возобладал, мы можем на этом основании заключить, что он-то и пользуется особым покровительством Творца. Пусть он будет одушевленным или неодушевленным, рациональным или иррациональным – все равно его сила все-таки проистекает от верховного Создателя и входит в план его провидения. Когда ужас перед страданием превозмогает любовь к жизни, когда добровольный акт предваряет действие слепых причин, – все это только следствие тех сил и начал, которые Творец внедрил в свои создания. Божественное провидение и в данном случае остается неприкосновенным и пребывает далеко за пределами человеческих посягательств.<sup>31</sup> Нечестиво, говорит древнее римское суеверие, отвращать реки с их пути или присваивать себе права природы. Нечестиво, говорит французское суеверие, прививать оспу или брать на себя дело провидения, произвольно вызывая расстройства или болезни. Нечестиво, говорит современное европейское суеверие, класть предел собственной жизни, подымая тем самым бунт против своего Создателя. Но почему же не нечестиво, говорю я, строить дома, обрабатывать землю или плавать по океану? При всех этих действиях мы пользуемся нашими силами духа и тела, чтобы произвести какое-нибудь видоизменение в ходе природы, и ни в одном не делаем чего-либо большего. Поэтому все они либо одинаково невинны, либо одинаково преступны.

*Но вы подобно часовому поставлены провидением на определенный пост; и если вы, не будучи отозваны, оставляете его, то вы повинны в возмущении против всемогущего Господа и навлекаете на себя его неудовольствие.* Но из чего вы заключили, спрашиваю я, что провидение поставило меня на этот пост? Что касается меня, то я нахожу, что обязан своим рождением длинной цепи причин, из которых многие зависели от произвольных поступков людей. *Но Провидение руководило этими Причинами, и ничто не происходит во вселенной без его согласия и содействия.* А если так, то и моя смерть, пусть и произвольная, произойдет не без его согласия; а поскольку муки или скорбь настолько превысили мое терпение, что жизнь стала мне в тягость, то я могу заключить, что меня самым ясным и настоятельным образом отзывают с моего поста. Конечно, не что иное, как провидение, поместило меня теперь в эту комнату. Но разве не могу я оставить ее, когда сочту нужным, не навлекая на себя подозрения в том, что

---

<sup>31</sup> Tacit. Annal., lib, I, 79.

оставил свое назначение и пост? Когда я умру, начала, из которых я составлен, все же будут совершать свое дело во вселенной и будут столь же полезны в этой величественной мастерской, как и тогда, когда они составляли данное индивидуальное создание. Для целого разница окажется здесь не больше, чем разница между моим пребыванием в комнате и на открытом воздухе. Для меня одно изменение важнее, чем другое; но это не так для вселенной.

Вообразить, что какое-либо сотворенное существо может нарушить порядок мира или посягать на дело провидения, – это своего рода кощунство. Это значит предполагать, что такое существо обладает силами и способностями, которые оно получило не от своего Создателя и которые не подчинены его правлению и власти. Человек, конечно, может внести смуту в общество и тем навлечь на себя неудовольствие Всемогущего; но управление миром находится далеко за пределами, доступными его вторжению. Но каким же образом становится ясно, что Всемогущий недоволен теми поступками, которые вносят разлад в общество? При помощи тех принципов, которые он внедрил в человеческую природу и которые возбуждают в нас чувство раскаяния, когда мы сами бываем повинны в подобных поступках, и чувство порицания и неодобрения, когда мы замечаем их в других. Посмотрим же теперь в соответствии с намеренным нами методом, принадлежит ли самоубийство к такого рода поступкам и является ли оно нарушением нашего долга по отношению к нашим *ближним* и *обществу*.

Человек, кончающий счеты с жизнью, не причиняет никакого ущерба обществу, он только перестает делать добро; а если это и проступок, то относящийся к числу наиболее извинительных.

Все наши обязанности делать добро обществу предполагают, по-видимому, некоторую взаимность. Я пользуюсь выгодами общества и поэтому должен служить его интересам; но если я совершенно порываю с обществом, то могу ли я и после этого оставаться связанным долгом? И если даже допустить, что наши обязанности делать добро не прекращаются никогда, все же они, наверное, имеют некоторые границы. Я не обязан делать незначительное добро обществу за счет большого вреда для себя самого; почему же в таком случае следует мне продолжать жалкое существование из-за какой-то пустячной выгоды, которую общество могло бы, пожалуй, получить от меня? Если на основании преклонного возраста и болезненного состояния я могу с полным правом отказаться от какой-нибудь должности и посвятить все свое время борьбе с этими бедствиями, а также облегчению по мере возможности несчастий своей дальнейшей жизни, то почему же я не мог бы разом пресечь такие несчастья посредством поступка, который столь же безвреден для общества?

Но предположите, что не в моих силах более служить интересам общества; предположите, что я ему в тягость; предположите, что моя жизнь мешает каким-нибудь лицам принести обществу гораздо большую пользу. В таких случаях мой отказ от жизни должен быть не только безвинным, но и похвальным. Но большинство людей, испытывающих искушение покончить с жизнью, находятся в подобном положении; те, кто обладает здоровьем, властью или почетом, имеют обычно лучшие основания быть в ладах с миром.

Некто замешан в заговоре во имя общего блага; он схвачен по подозрению; ему грозит пытка; и он знает, что из-за его слабости тайна будет исторгнута от него. Может ли такой человек лучше послужить общим интересам, чем поскорее покончив со своей несчастной жизнью? Так обстояло дело со славным и мужественным Строщи из Флоренции. Предположите далее, что злодей заслуженно осужден на позорную смерть; можно ли вообразить какое-либо основание, в силу которого он не должен был бы предварить свое наказание и избавить себя от мучительных дум о его ужасном приближении? Он не более посягает на дело провидения, чем власти, распорядившиеся о его казни; и его добровольная смерть в такой же мере полезна для общества, так как освобождает его от опасного сочлена.

Что самоубийство часто можно совместить с нашим интересом и нашим долгом по отношению к нам самим, в этом не может быть сомнения для кого-либо, кто признает, что воз-

раст, болезнь или невзгоды могут превратить жизнь в бремя и сделать ее даже чем-то худшим, нежели самоуничтожение. Я убежден, что никто никогда не отказывался от жизни, пока ее стоит сохранять. Ибо так велик наш естественный ужас перед смертью, что незначительные мотивы никогда не будут в силах примирить нас с ней; и, хотя, быть может, положение здоровья и дел некоторого человека на первый взгляд и не требовало упомянутого средства, мы можем во всяком случае быть уверены в том, что каждый, кто без видимых оснований прибег к нему, был клеймен такой безнадежной извращенностью или мрачностью нрава, что они должны были отравлять ему все удовольствия и делать его столь же несчастным, как если бы он изнывал под бременем самых горестных невзгод.

Если предполагается, что самоубийство есть преступление, то только трусость могла бы побудить нас к нему. Если же оно не преступление, то благоразумие и мужество должны были бы побудить нас разом избавиться от существования, когда оно становится бременем. При таком положении дел это единственный путь, встав на который мы можем быть полезны обществу, ибо подаем пример, который, если он найдет подражателей, оставит каждому его шанс на счастье в жизни и вполне освободит его от всякой опасности, от всякого злополучия.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Не трудно было бы доказать, что самоубийство столь же мало возбраняется христианам, как и язычникам. Нет ни одного места в Священном Писании, которое запрещало бы его. Этот великий и непогрешимый канон веры и жизни, под контролем которого должны пребывать всякая философия и человеческое рассуждение, в данном отношении предоставил нас нашей естественной свободе. Правда, в Священном Писании говорится о покорности провидению, но это понимается только в смысле подчинения неизбежным бедствиям, а не тем, которые могут быть устранены посредством благоразумия и мужества. Заповедь *не убий*, очевидно, имеет в виду запрещение убивать других, на жизнь которых мы не имеем никакого права. Что эта заповедь подобно большинству заповедей Священного Писания должна быть согласована с разумом и здравым смыслом – это явствует из образа действия властей, которые карают преступников смертью, не придерживаясь буквы закона. Но если бы даже это предписание было совершенно ясно направлено против самоубийства, все же оно не имело бы ныне никакой силы, ибо закон Моисея отменен, за исключением того в нем, что установлено законом Природы. И мы уже пытались доказать, что самоубийство этим законом не возбраняется. Во всех случаях христиане и язычники находятся в равном положении; Катон и Брут, Аррия и Порция поступили как герои. Те, кто следует их примеру, должны удостоиться тех же похвал от потомства. Способность лишить себя жизни рассматривается Плинием как преимущество людей по сравнению даже с самим Божеством. «*Deus non sibi potest mortem consciscere si velit, quod homini dedit optimum in tantis vitae poenis*». – Lib.II, cap.7 [Бог даже при желании не мог бы причинить себе смерть, и это при стольких бедствиях жизни лучший из его даров человеку (*Плиний Старший*. Естественная история, кн. II, гл.7)].

## Артур Шопенгауэр Новые паралипомены

### Глава XII О самоубийстве

#### Параграф 334

*Против самоубийства* можно бы сказать: человек должен поставить себя выше жизни, он должен познать, что все ее явления и происшествия, радости и боли не касаются его лучшего и внутреннего «я»; что, следовательно, жизнь в своем целом представляет собой игру, турнир-позорище, а не серьезную борьбу; что поэтому он не должен вмешивать сюда серьезно-сти, а ее он может проявить двояким образом: во-первых, посредством порока, который не что иное, как поведение, противоречащее этому внутреннему и лучшему «я», причем он таким образом низводит последнее до насмешки и игры, а игру принимает всерьез; во-вторых, путем самоубийства, которым он именно показывает, что он не понимает шуток, а принимает ее как нечто серьезное и поэтому как *mauvais joueur* переносит потерю не равнодушно, а, если ему сданы в игре плохие карты, ворчливо и нетерпеливо не хочет играть дальше, бросает карты и нарушает игру.

#### Параграф 335

Тем, кто стремится к смерти или кончает собой из безнадежной любви, которая, кстати сказать, тем, что одно только удовлетворяет ее, обнаруживает свое чувственное возникновение, по крайней мере, отчасти; тех, кто ставит свою жизнь в зависимость от мнения других или от какого-либо иного вздора и теряет ее на дуэли или в иных намеренных опасностях; даже тех (но здесь я спускаюсь на заметную ступень ниже), кто ставит благополучие своей жизни на карту или на произвол костей не из любви к выигрышу, а из любви к сильным ощущениям страха и надежды, – всех их и, словом, всех одержимых действительно страстью наша философия будет порицать и объявлять глупцами, которые ошиблись в том, что желательно; но презирать их мы не будем, а будем, если сравним их с настоящими филистерами, которые благоразумно стремятся к долгой и удобной жизни, некоторым образом даже уважать и предпочтем последним. Ибо первые подобны тем, кто, для того чтобы полакомиться пряностями какого-нибудь блюда, вправленными в торт пустяками, отказывается от притязаний на самую питательность блюда, на самую массу торта; вторые, наоборот, похожи на тех, кто, ради неестественного использования самой массы и питательности торта, отказываются от названных мелочей; они, следовательно, относятся к первым, как желудок к языку. Но мы не должны быть ни желудком, ни языком.

#### Параграф 336

Как только мы перестаем *хотеть*, жизнь предстает нам только еще как легкое явление, как утренний сон (об этом говорят фигуры на картине Корреджио, изображающей Мадонну со св. Иоанном) и тоже исчезает наконец, как и он, незаметно и без сильного перехода. Поэтому Гюйон и говорит: мне все безразлично, я не могу ничего больше хотеть; я не знаю, существую ли я или нет, и т. д.

*Самоубийца* – это человек, который вместо того, чтобы отказаться от хотения, уничтожает явление этого хотения: он прекратил не волю к жизни, а только жизнь. Но он вполне испытывает внутренний раскол жизни, и горькое самоубийство представляет собою боль, которая может излечить его от воли к жизни.

### Параграф 337

Человеконенавистничество, например, какого-нибудь Тимона из Афин – нечто совершенно иное, чем обыкновенная враждебность дурных людей. Первое возникает из объективного познания злобы и глупости людей в общем, оно касается не отдельных лиц, хотя отдельные лица и могут быть первым поводом, а направлено на всех, а эти отдельные люди рассматриваются только как безразличный пример. Более того, оно всегда до некоторой степени – благородное негодование, которое невозможно только там, где существует сознание лучшей собственной природы, возмущившейся совершенно неожиданными дурными свойствами других.

В противоположность этому обыкновенная враждебность, недоброжелательность, ненавистничество являются чем-то совершенно субъективным, возникшим не из познания, а из воли, которая встречает препятствия со стороны других людей в постоянных столкновениях и вот ненавидит отдельных лиц, которые стоят у нее на дороге, мало-помалу и всех, кто может ей мешать, то есть, собственно, именно всех, но всегда – по частям, в отдельности, и только исходя из поясненной раньше субъективной точки зрения. Такой человек будет любить немногих индивидуумов, с которыми у него в силу родственных связей или привычки есть хоть один общий интерес, хотя они ничем не лучше, чем другие.

Человеконенавистник относится к обыкновенному враждебно настроенному человеку, как аскет, который уничтожает волю к жизни, который смиряется, к самоубийце, который, хотя и любит жизнь, но еще больше страшится какого-нибудь определенного случая в жизни, так что этот страх перевешивает ту любовь. Враждебность и самоубийство касаются только одного, единичного случая, мизантропия и резигнация – целого. Первые похожи на обыкновенного моряка, который по рутине умеет плыть по морю в определенном направлении, а вне этого пути беспомощен; последние же подобны мореплавателю, который научился пользоваться компасом, картой, квадрантом и хронометром и который найдет пути по всему миру. Враждебность и самоубийство исчезли бы с уничтожением отдельного случая; мизантропия же и резигнация непоколебимы и не приводятся в движение ничем временным.

### Параграф 338

Как отдельная вещь относится к Платоновой идее, так *самоубийца* относится к *святому*. Или еще лучше: самоубийца представляет на практике то, чем в теории является тот, кто оставившись в познании на законе основания, а святой или аскет на практике – то, что в теории – тот, кто познает Платоновы идеи или вещи в себе.

А именно: святой представляет собой человека, который перестает быть явлением воли к жизни; в нем воля обратилась. Обыкновенный же самоубийца жизни вообще хочет, но не хочет только отдельного явления этой воли, которое он сам представляет собою и которое разрушает. Воля в нем принимает решение сообразно своей (воли) независимой от закона основания (то есть от времени, пространства, единичности, причинности) сущности, которой отдельное явление безразлично, так что его разрушение ее (воли) не касается; ибо она ведь есть все живущее.

В том отдельном явлении, которое представляет собою самоубийца, он находит себя настолько стесненным страданиями (безразлично какими), что он даже не может более развить свою сущность (волю к жизни): оставаясь верным этой своей сущности, он разрушает таким образом отдельное явление, и поэтому именно самоубийство является выражением воли

к жизни, и оно наступит тем скорее, чем сильнее эта воля. И вот эта самая воля живет, не затрагиваемая отдельным самоубийством, во всем живущем. Но самоубийство и страдание, которое породило его, – это умерщвления воли к жизни, которые побуждают ее обратиться.

### Параграф 339

Совершенно бедственным и до отчаяния ужасным становится положение человека тогда, когда он ясно распознает существенную цель всего своего хотения и в то же время невозможность достигнуть ее, но при этом до такой степени не может попуститься этим хотением, что, наоборот, насквозь и всецело представляет собою не что иное, как именно это хотение, неосуществимость которого он ясно видит. Когда наконец это явление, которое есть он сам, совершенно выводит его из терпения, тогда он прибегает к самоубийству. До тех пор он живет во внутреннем отчаянии и спутанности всех мыслей.

### Параграф 340

Самоубийство – это шедевр майи. Мы уничтожаем явление и не видим, что вещь в себе остается неизменной, подобно тому, как неподвижно висится радуга, как бы быстро ни падала капля за каплей и ни становилась носительницей ее на один момент. Только уничтожение воли к жизни в общем может спасти нас: разлад с каким-нибудь одним из ее явлений оставляет ее самое несокрушимой, и таким образом уничтожение такого явления оставляет являемость воли в общем неизменной.

Везде появляется *противоположность между общим и частным*: первое – как верный путь, последнее – как неверный...

### Параграф 341

*Воля к жизни* проявляется в такой же мере в желании смерти, выражение которого представляет собою самоубийство, с помощью какого отрицается и уничтожается не самая жизнь, а только ее данное явление, не вид, а только индивидуум, причем это деяние поддерживает внутренняя уверенность, что у воли к жизни никогда не может быть недостатка в ее проявлениях и что она, несмотря на смерть совершающего самоубийство индивидуума, живет в неисчислимом количестве других индивидуумов; я говорю: в этом самоумерщвлении (Шива) воля к жизни проявляется точно так же, как и в блаженстве самосохранения (Брама). В этом – внутреннее значение единства Тримурти,<sup>33</sup> как и того, что как раз Шива имеет своим атрибутом Лингам.

### Параграф 342

*Дисхолия* представляет большую восприимчивость ко всем неприятным впечатлениям и слабую ко всем приятным. *Эухолия* держится обратного порядка.

Если *дисхолия* вследствие телесных ненормальностей (которые лежат большей частью в нервной и пищеварительной системе) достигает очень высокой степени, то малейшая неприятность является достаточным мотивом для *самоубийства*.

Но величина какого-нибудь несчастья может довести до *самоубийства* и самого здорового человека.

---

<sup>33</sup> Которую представляет каждый из нас, выставляя то одну, то другую из трех голов (*Примечание А. Шопенгауэра*).

Если оставить в стороне переходные и средние ступени, то существует, следовательно, два рода самоубийства: самоубийство больного в силу *дисхонии* и самоубийство здорового из-за несчастья.

Вследствие большой разницы между *дисхонией* и *эухонией* нет такого несчастного случая, который был бы так мал, чтобы он при достаточной *дисхонии* не мог бы стать мотивом к самоубийству, и такого, который был бы так велик, чтобы он должен был стать мотивом к самоубийству для всякого человека.

По тяжести и реальности несчастья можно судить о степени здоровья самоубийцы. Если допустить, что совершенно здоровый человек должен быть настолько *эухоническим*, чтобы никакое несчастье не могло сломить его жизненного мужества, то правильно утверждать, что все самоубийцы – душевнобольные (собственно – телесно больные). Но кто же вполне здоров?

В обоих родах *самоубийства* дело в конце концов представляет одно и то же: естественная привязанность к жизни преодолевается невыносимостью страданий; но подобно тому, как для того, чтобы переломить толстую доску, необходимо 1000 фунтов, в то время как тонкая ломается под тяжестью одного, так обстоит дело и с поводом и с восприимчивостью. А в конце концов, это обстоит так, как с физическими случаями: легкая простуда стоит больному жизни, но есть простуды, от которых должен умереть даже самый здоровый человек.

Несомненно, здоровому приходится при принятии решения выдерживать гораздо более тяжелую борьбу, чем душевнобольному, которому решение, при высокой степени его болезни, почти ничего не стоит; но зато он вынес уже долгий период страдания до того, пока его настроение понизилось до настоящей степени.

Во всех случаях облегчение – в том, что духовные страдания делают нас равнодушными к телесным, как и наоборот.

Наследственность расположения к самоубийству доказывает, что субъективный момент побуждения к нему является, очевидно, наиболее сильным.

## Федор Достоевский Дневник писателя

### Два самоубийства

Недавно как-то мне случилось говорить с одним из наших писателей (большим художником) о комизме в жизни, о трудности определить явление, назвать его настоящим словом.<...>

– А знаете ли вы, – вдруг сказал мне мой собеседник, видимо давно уже и глубоко пораженный своей идеей, – знаете ли, что, что бы вы ни написали, что бы ни вывели, что бы ни отметили в художественном произведении, – никогда вы не сравняетесь с действительностью. Что бы вы ни изобразили – всё выйдет слабее, чем в действительности. Вы вот думаете, что достигли в произведении самого комического в известном явлении жизни, поймали самую уродливую его сторону, – ничуть! Действительность тотчас же представит вам в этом же роде такой фазис, какой вы и еще и не предлагали и превышающий всё, что могло создать ваше собственное наблюдение и воображение!..

Это я знал еще с 46-го года, когда начал писать, а может быть и раньше, – и факт этот не раз поражал меня и ставил меня в недоумение о полезности искусства при таком видимом его бессилии. Действительно, проследите иной, даже вовсе и не такой яркий на первый взгляд факт действительной жизни, – и если только вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира. Но ведь в том-то и весь вопрос: *на чей глаз и кто в силах?* Ведь не только чтоб создавать и писать художественные произведения, но и чтоб только приметить факт, нужно тоже в своем роде художника. Для иного наблюдателя все явления жизни проходят в самой трогательной простоте и до того понятны, что и думать не о чем, смотреть даже не на что и не стоит. Другого же наблюдателя те же самые явления до того иной раз озаботят, что (случается даже и нередко) – не в силах, наконец, их обобщить и упростить, вытянуть в прямую линию и на том успокоиться, – он прибегает к другого рода упрощению и *просто-запросто* сажает себе пулю в лоб, чтоб погасить свой измученный ум вместе со всеми вопросами разом. Это только две противоположности, но между ними помещается весь наличный смысл человеческий. Но, разумеется, никогда нам не исчерпать всего явления, не добраться до конца и начала его. Нам знакомо одно лишь насущное видимо-текущее, да и то понаглядке, а концы и начала – это всё еще пока для человека фантастическое.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.